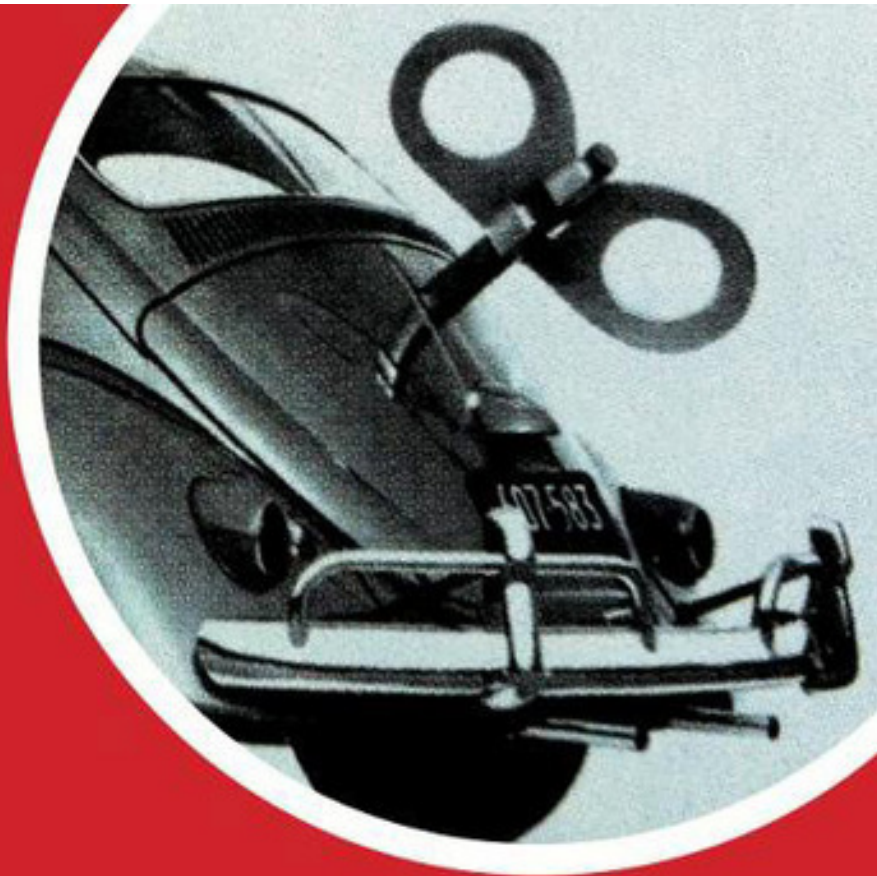


Лутц  
Нитхаммер  
Вопросы  
к немецкой  
памяти



НОВОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Лутц Нитхаммер

**Вопросы к немецкой памяти.  
Статьи по устной истории**

«Новое издательство»

2012

## **Нитхаммер Л.**

Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории /  
Л. Нитхаммер — «Новое издательство», 2012

Книга немецкого историка Лутца Нитхаммера «Вопросы к немецкой памяти» не претендует на изложение фактической истории XX века «как она была на самом деле», ее цель — прикоснуться к личной, субъективной, эмоционально окрашенной памяти немцев, их восприятию исторических событий и собственной биографии. Опираясь на большой массив биографических интервью, Нитхаммер намечает основные контуры того ландшафта воспоминаний, который сохранился в памяти у военного поколения немцев к середине 1980-х годов, — воспоминаний о войне, о жизни на фронте и в тылу, о первых послевоенных годах в Западной Германии и о рубежных событиях в истории ГДР.

© Нитхаммер Л., 2012

© Новое издательство, 2012

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Вопросы к немецкой памяти. Предисловие к русскому изданию  | 5  |
| 1 Вопросы – ответы – вопросы. Методология устной истории:<br>практический опыт и теоретические размышления | 7  |
| Биография – история жизни  | 9  |
| Повседневность   | 10 |
| Смена перспективы  | 10 |
| История жизненного опыта   | 11 |
| О критике интервью-воспоминания  | 11 |
| Опрос и память   | 12 |
| Структура текста и индивидуальность рассказа   | 19 |
| Герменевтика   | 26 |
| Границы «антропологической» объективации   | 27 |
| Эстетическое восприятие  | 28 |
| Интервенция памяти   | 31 |
| Свидетельство экспертов  | 32 |
| Конец ознакомительного фрагмента.  | 38 |

# **Лутц Нитхаммер**

## **Вопросы к немецкой памяти.**

### **Статьи по устной истории**

#### **Вопросы к немецкой памяти.**

#### **Предисловие к русскому изданию**

В этой книге впервые собраны статьи по устной истории, написанные и опубликованные мною двадцать, а некоторые и тридцать лет назад в рамках нескольких крупных исследовательских проектов по новейшей истории Западной и Восточной Германии. В те годы устная история только зарождалась как самостоятельная дисциплина, и мы с моими коллегами ощущали себя пионерами в этой области. Нашу новую исследовательскую задачу мы видели в том, чтобы, во-первых, приблизиться к живому свидетелю и участнику недавних исторических событий, не утратив при этом необходимой для ученого критической дистанции. Во-вторых, опрашивая очевидцев, мы надеялись получить совершенно новый тип исторических источников, которые нельзя найти в архивах. Таким образом, обращаясь непосредственно к субъекту исторического процесса, мы стремились расширить границы традиционной исторической науки и придать ей новый демократический импульс.

Эти статьи показывают, как с помощью методов устной истории основанная на вытеснении и забвении коллективная память может быть разрушена или поставлена под сомнение, стоит только обратиться к индивидуальным воспоминаниям очевидцев. В этом отношении Германия представляет особый интерес для исследователя, так как, с одной стороны, всех немцев объединяют тяжкие воспоминания о войне и фашизме, с другой – послевоенный опыт у них совершенно различный. Но это не означает, что восточные и западные немцы после войны начали свою жизнь с нуля. Наоборот, устная история с ее индивидуальным подходом к биографии позволяет понять, как то, что люди пережили в нацистской Германии, определяло их дальнейшие жизни и судьбы в двух государствах с совершенно разными общественными системами.

Я очень рад, что этот сборник выйдет в России, и не только потому, что всякому автору лестно, когда его книги переводят на иностранные языки, но и потому, что это еще одна возможность поделиться своим опытом с коллегами-историками. За последние двадцать лет я много раз бывал в России и других постсоветских странах, и у меня сложилось впечатление, что мы в этом не слишком преуспели, хотя историкам необходимо обмениваться не только собственным исследовательским опытом, но и практическими методами анализа (а также сбора и фиксации) используемых источников.

Русское издание этой книги так важно для меня еще по одной причине. Дело в том, что исторические судьбы России и Германии во многом схожи: обе страны пережили национальную катастрофу, в обеих были совершены преступления против человечности. Однако я глубоко убежден, что попытка моего и последующих поколений разобраться в этих преступлениях и заставить общество говорить о них не стала для нас, немцев, чем-то деморализующим и разрушительным, а наоборот, благодаря этому мы, с одной стороны, стали более сильными и уверенными в себе, а с другой – получили важный урок смирения и сострадания и стали относиться к себе более трезво.

Наконец, всякий раз, когда я пересекаю некогда непроницаемые границы Германии и Европы, я испытываю глубокое волнение, так как до сих пор не могу поверить, что это возможно. Причем чувство это я испытываю не только в силу своих профессиональных занятий,

но и просто по-человечески, поскольку, несмотря на закрытые границы, мне удалось найти за железным занавесом близких друзей и единомышленников. Это Агнес Хеллер из Будапешта, Ирина Щербакова из московского «Мемориала», София Войцицка из польского исторического общества «Карта».

## **1 Вопросы – ответы – вопросы.**

### **Методология устной истории: практический опыт и теоретические размышления**

Мой собеседник – старый жестянщик; он родился в 1900 году в рабочей семье, придерживавшейся строгих католических нравов; с 1919 года он работает по металлу; в 1950-х годах стал профсоюзным деятелем; с 1928 года, а потом снова после выхода на пенсию в конце 1960-х был членом коммунистической партии; всю свою жизнь проработал на небольших предприятиях металлургической промышленности – на последнем месте 32 года. Во время интервью ему был задан вопрос, верил ли он во время «блицкригов» окончательную победу Германии. Отвечая, он вспоминает речь Гитлера, в которой тот объявил о нападении на Польшу, и рассказывает:

У меня там был один коллега – он был в СА, но у нас хорошие отношения были, – он прекрасно знал, что я держался свободных взглядов. И тут мы услышали про войну. Его теперь тоже уже нет в живых – погиб от несчастного случая, с крыши сорвался. И вот услышали мы, что война. «Да, – говорю, – Юпп, – Йозефом его звали, а мы так Юппом, сокращают тут так, – да, Юпп, эта война уже проиграна», – сказал я этому человеку из СА. А он мне: «Да ты что, как ты можешь такое говорить?!» «А вот, Юпп, – сказал я, – мы с тобой потом про это поговорим». Не то чтоб он мне что-то сделал или там что, – нет, этого не было. Он меня знал, что я хороший товарищ и все такое и что я всегда всем помогал и так далее. Ну вот, а после войны я его спросил – его еще призывали, он в армии был [в то время как наш собеседник призыву не подлежал как незаменимый работник]. После войны вернулся. Я говорю ему: «Ну, Юпп, что я тебе говорил 1 сентября 1939 года?» А он отвечает: «Проклятье, ты был прав!» – «Да, – я сказал, – немцы еще ни одной войны не выиграли. Даже в 70–71-м и то не они выиграли: они получили только пять миллионов или миллиардов – что там было? – в казну, – говорю, – а выиграли тогда войну англичане. Нет, мы, немцы, еще ни одной войны не выиграли, – говорю я ему. – Мы и в 1806-м войны – Наполеон-то – и Фридрих Великий, – говорю, – тоже не много войн выиграл: Семилетняя война – это же были не выигранные войны, – говорю, – это ж все поражения были». Так я ему все это рассказал, исторически {1}<sup>1</sup>.

Метод массового опроса не всегда ведет к исторической истине. Бывает, что сведения, которые дают респонденты, оказываются неверными, если сравнить их с источниками, имеющими более непосредственное отношение к обсуждаемым темам. Поэтому приходится отбирать – о чем стоит спрашивать, а о чем нет. Но часто исследователь получает ответы на вопросы, которых он и не задавал вовсе. Более того, эти ответы порождают новые вопросы. Историкам не нужно заниматься устной историей, если для ответов на возникающие у них вопросы есть другие подходящие источники: ни одному здравомыслящему историку не придет в голову проводить интервью, чтобы пролить новый свет на вопрос о том, сколько войн Германия выиграла и сколько проиграла. Ценность приведенной выше цитаты – совсем в другом.

Прежде всего, она демонстрирует насущную потребность в историческом обосновании политических прогнозов и суждений; и не важно, что в данном случае верное суждение было

---

<sup>1</sup> Примечания автора приводятся в конце статей; отмеченные «звездочками» примечания здесь и далее принадлежат переводчику.

подкреплено неверными историческими аргументами. Она дает нам возможность восстановить по палимпсесту памяти старого человека испорченный текст (гласящий, что все войны сильных мира сего означают поражения для народа) и задаться вопросом, почему такое содержание (будь то в разговоре двух коллег в 1945 году или в воспоминании 80-летнего старика о том, что он сказал полжизни назад) было заключено в аргументации, использующей национальные понятия: «Мы, немцы, никогда не побеждаем»? Что перед нами: голос неоднократно побежденного и тем не менее лишь поверхностно усвоившего уроки поражений народа? Или коммуникативная прагматика человека левых взглядов, столкнувшегося с военным оптимизмом окружающих? Или перед нами свидетельство раздражения, которое испытывает немецкий коммунист, узнав о пакте Гитлера со Сталиным или наблюдая военную экспансию и укрепление русской гегемонии взамен революции в социалистическом лагере? Ответ, разумеется, невозможно дать на основе лишь этого одного пассажа, но к нему можно было бы приблизиться, если сравнить множество интерпретаций, данных разными респондентами на одни и те же темы.

Кроме того, данная цитата могла бы стать подходящей источниковой базой для того, чтобы показать, что принадлежность к политическим лагерям (здесь это – коммунистическая традиция «свободных взглядов» и фашистская гвардия фюрера) могла оказаться менее важна, чем принадлежность к одной социальной среде и товарищество между коллегами: и в годы национал-социализма, и потом старый левак и старый нацист прежде всего были добрыми приятелями, коллегами по работе. Уже один тот факт, что это свидетельство вообще дошло до нас (а также тот факт, что члену СА приходится идти на фронт, в то время как наш собеседник-коммунист остается на предприятии) указывает на то, что социальные культуры могут оказываться сильнее политических лояльностей и возможностей власти. Это помогает понять дополитические пространства и отношения (такие, например, на которые указывала в период денацификации формулировка «нацист, оставшийся порядочным») как один из залогов общественной интеграции в послевоенные годы.

И наконец, эта цитата помогает опровергнуть распространенный исторический предрассудок, согласно которому до начала войны или до Сталинградской битвы никто в Германии не давал правильного прогноза и что нацистский террор заткнул рот абсолютно всем тем, кто еще в годы Веймарской республики предупреждал, что «Гитлер – это война». Очевидно, что этот двоякий предрассудок облегчал совесть многим людям, которые поддерживали фашистский режим в период его экспансии. На самом же деле сохранялись остатки оппозиционного общественного мнения – например, в закоулках товарищеских отношений внутри трудовых коллективов на предприятиях, – и там понимали не только что Гитлер – это война, но и что война эта будет проиграна. При таком взгляде на массовую поддержку национал-социалистической системы отменяются дешевые, лишь внешне соответствующие здравому смыслу ошибочные версии и освобождается пространство для более глубоких вопросов.

Критически настроенный читатель справедливо возразит, что я преувеличиваю значение одного-единственного невнятного высказывания, состоящего всего из нескольких фраз. Такая интерпретация его возможна только на фоне множества бесед, когда отдельные замечания и находки (или латентные смысловые связи между индивидуальной и публичной памятью) складываются в более регулярный и надежный опыт исследователя. Оснований для этого на данный момент уже несколько. Устная история в последнее десятилетие активно развивалась в разных странах, и ее практика породила методологическое сознание, которое становится все более критичным {2}. В настоящей статье {3} я попытался обобщить несколько выводов из работы с интервью-воспоминаниями, которую я сам проводил в рамках проекта «Биография и социальная культура в Рурской области, 1930–1960» (LUSIR) {4}.

Когда при завершении проекта исследователь снова задумывается о возможностях использованного в нем метода, мотивированы эти раздумья бывают не в последнюю очередь



теми трудностями и кризисами, с которыми он столкнулся. Во введении к первому тому публикации нашего проекта я коротко рассказал об изменениях, которые он претерпевал по ходу реализации, о наших практических шагах и о трудностях, с которыми столкнулась наша рабочая группа, в частности, о том, как трудно было переработать опыт интервью, заставлявший нас перейти к более открытым постановкам вопросов, и как трудно было найти научный угол зрения при анализе собранного материала {5}. Из этого комплекса тем я хотел бы здесь снова выделить два важнейших аспекта, поскольку они проливают свет на происхождение нижеследующих рассуждений о критике интервью-воспоминания и о вмешательстве памяти в историческое исследование.

Первое: тому, кто занимается устной историей, отправляясь от такой научной традиции, которая стремится одновременно к критичному отношению к обществу и к солидарности с человеческой субъективностью, приходится считаться с тем, что его ждут кризисы самопонимания. Мы вначале слишком мало об этом думали, затем пытались избежать таких кризисов, потом нас настигли рабочие и коммуникативные трудности, и мы лишь постепенно, в ходе дискуссий, прагматических разграничений нашей работы, а по-настоящему, может быть, и вовсе только после ее завершения, заметили, что этот кризис в определенном смысле был в порядке вещей.

Ведь фантазии и проекции, заключенные в абстрактных интенциях, таких как критичность и солидарность, в ходе интерактивного процесса создания биографического интервью со всей его специфичностью и сложностью, разбиваются об исторические взаимосвязи, и тогда от исследователя требуется некоторая доля самовосприятия, в качестве средств защиты от которого удобно прибегать к академизму (дистанцирование от объекта) или популизму (документирование реальной жизни). Эти соблазны сильны, ведь то, что рушится – это и добрая доля собственных изначальных познавательных интересов и мотиваций самого исследователя {6}. Ниже я собираюсь с помощью более подробного описания специфических рабочих операций устной истории способствовать тому, чтобы избежать таких ложных альтернатив и вместо этого отнестись к самовосприятию исследователя как к критичному познавательному инструменту и как к шансу покинуть башню из слоновой кости, не впад при этом в ложные идентификации.

Второе: устная история – не просто «другая история», она в определенных областях позволяет добиваться пускай ограниченного, но важного прогресса исторического познания и коммуникации. Но рассматривать устную историю лишь как технику получения данных означало бы недооценивать ее, потому что вызов, который она бросает истории, содержит в себе и принципиальные элементы. Эта дифференциация стала мне понятна тоже благодаря опыту работы над нашим проектом, и поэтому я хотел бы вкратце охарактеризовать ее на примере различных подходов, примененных в разных статьях.

## **Биография – история жизни**

С одной стороны, биографический подход показал свою плодотворность прежде всего при изучении рабочих элит: откуда родом были члены производственных советов на предприятиях горнорудной промышленности (это в Рурской области важнейший слой-посредник между рабочими и промышленной и политической системой)? Какой предшествующий жизненный и политический опыт стал решающим в формировании облика разных поколений и группировок этой элиты? С другой стороны, наши интервью привели нас к тому, чтобы применять этот подход не только ретроспективно, но и проспективно: что произошло с представителями тех или иных политических лагерей рабочего движения веймарского периода в последующие годы? Что стало в послевоенные годы с вожатыми гитлерюгенда и Союза немецких девушек, рекрутировавшимися из рабочих семей?

## Повседневность

Реконструкция повседневной жизни в нашем проекте – в отличие от множества прежних исследований по народоведению – была нацелена не столько на описание устойчивых, долговременных структур в социальной среде, еще, так сказать, не превратившейся в общество, сколько на выяснение того, как, справляясь с повседневными обстоятельствами жизни и труда, люди реагировали на зависимость этих обстоятельств от их среды, от социальных и политических изменений, от общих условий войны и послевоенного времени. Жизненные миры рабочего населения индустриального Рурского бассейна в XX столетии не вписываются в дихотомию «автономия – колонизация»; они образуются всегда в условиях сформировавшегося общества в постоянном противоборстве автономии и гетерономии (например, когда и какой тип автономии существовал у домохозяек в шахтерских поселках?). Имея это в виду, мы прослеживали на протяжении длительного периода времени ритмы и тенденции перемен в повседневной жизни для отдельных исследуемых групп (например, работа по дому в шахтерском поселке, опыт труда и социальных отношений на предприятии крупной промышленности, соседские отношения). В других случаях рассказы и сведения из интервью годились для «плотного описания» социальных отношений в ближнем окружении человека, его приватном мире, и его субъективного восприятия общих изменений в короткий период времени: такое мы пробовали сделать применительно к профессиональной и общественной инициации молодежи в Третьем рейхе, к обращению с иностранными подневольными рабочими во время войны, к индивидуальным и коллективным стратегиям выживания в период «черного рынка» и к профессиональной трудовой деятельности женщин в 1950-х годах.

## Смена перспективы

Третий подход заключался в том, чтобы дать проявиться потенциалу сопротивляемости интервью по отношению к упрощающим обобщениям, например, представлениям о сплошной политизированности и политической раздробленности рабочей среды в Веймарской республике, или об «опустившихся руках» у рабочих-металлистов в 1950-е годы, или о якобы совершенно разном опыте у «изгнанных»<sup>2</sup> и «оседлых» немцев, или о возможности выхода на социалистический путь в первые послевоенные годы. Среди таких упрощающих обобщений были не в последнюю очередь и наши собственные, возникшие из-за того, что перспектива исследователя была далека от перспективы изучаемых субъектов, или из-за того, что мы не учитывали региональных особенностей. В рассказах наших собеседников описывались сложные ситуации, которые, например, показывали, что в рабочей среде существовали и другие важные общие черты и конфликты помимо различных политических ориентаций. В этой сложности материала мы видели – в том числе и в тех случаях, когда для нас из нее еще не вытекал содержательный контртезис, – важный критический потенциал, расширяющий историческое восприятие и противодействующий реификации редукционистских понятий.

---

<sup>2</sup> Термином «изгнанные» (Vertriebene, реже – Heimatvertriebene) обозначаются этнические немцы, жившие в восточных районах Германии (Западной и Восточной Пруссии, Померании, Силезии, Судетах и т. д.) и в соседних странах Восточной Европы (Польше, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Румынии, республиках Прибалтики), а по окончании Второй мировой войны депортированные оттуда на территорию Германии в ее новых границах и в Австрию. Соответственно, под «изгнанием» (Vertreibung) здесь и далее понимается эта депортация. По оценкам, в 1944–1948 гг. в Западную и Восточную Германию и Австрию прибыли более 12 миллионов «изгнанных».

## **История жизненного опыта**

В силу нашего исследовательского интереса к предшествующему жизненному опыту респондентов, который обеспечил возможность последующей интеграции этих людей в социал-демократическое движение, мы обращали внимание на такие аспекты, которые можно отнести к «истории жизненного опыта». В ретроспективном интервью, правда, эта история раскрывается с трудом, потому что те толкования, которые выдвигают респонденты, в большинстве случаев отражают то, что они знают сегодня, и невозможно полагаться на их нынешние воспоминания о том, что было им ценно в прошлом. Но во время анализа текста мы обратили внимание на то, что многие важные моменты из пережитого ими люди вспоминают как бы без истолкования, в «сыром» виде. Вместе с тем в воспоминаниях существуют латентные интерпретативные паттерны, ценностные импликации которых противоречат той позиции, которую в остальном занимает индивид: они относятся еще к прежним, частично преодоленным, но частично сохраняющим свое действие структурам. Подобные паттерны можно, по крайней мере иногда, связать с определенными контекстами былого жизненного и социального опыта. Поэтому интервью-воспоминания продуцируют такой материал, который позволяет продемонстрировать различные слои индивидуального и общественного опыта и возможности его переработки. Это мы исследовали на примерах трудового опыта 1930-х годов, различных сфер военного опыта, опыта повседневной жизни оккупационного периода, а также сохранивших свою действенность элементов национал-социалистического формирования юношеской личности.

Эти разнообразные аспекты, которые проявляются с помощью интервью-воспоминаний, могут взаимно поддерживать друг друга. При попытках реконструировать изменения повседневного жизненного мира часто тоже констатируются перемены в плане истории опыта; и наоборот, интерпретации с позиции истории опыта возможны только тогда, когда наши истолкования в точности совпадают с данными исследований по истории повседневной жизни. В таких подходах, как биографический метод и критика идеологии, присутствует та же многосложность, что и в истории повседневности, и тот же элемент вторжения в наши социокультурные зоны «само собой разумеющегося», т. е. вопросы истории жизненного опыта. В целом связующий элемент между отдельными аспектами исследования заключается в том, что в силу самого факта социокультурного контакта и в силу ассоциативного характера интервью-воспоминания респонденты оказывают влияние на познавательный интерес историков, причем в большей мере и с большей неизбежностью, чем это делают другие «источники». Они разбивают барьеры, изначально ограничивавшие этот интерес и задававшие ему направление, и вторгаются в процесс, властно беря на себя долю участия в постановке и перепостановке проблем: ответы порождают вопросы.

## **О критике интервью-воспоминания**

Как можно точно определить исследовательский инструмент устной истории, т. е. производство исторической информации посредством бесед о воспоминаниях, запись их на механический звуковой носитель, обработку и анализ их как исторического источника? Приводимые ниже размышления не призваны заменить отсутствующую методологическую теорию {7}. Я скажу о проблемах, которые в ходе нашей работы оказались особенно трудными. В других проектах практика тоже подвигала исследователей к потребности в методологических уточнениях {8}. Основные вопросы таковы: память и взаимодействие в контексте интервью, репрезентативность и нарративность его текста. В то время как в самокритике авторы проектов обычно особое значение придают общению с респондентами, оригинальному тону их высказываний, значению их молчания, их ностальгии и ее роли как фильтра воспоминаний, говорят о связях

с психоанализом и этнометодологией, то в критике этих проектов извне на первом месте стоят вопросы силы человеческой памяти и репрезентативности отобранного материала. У меня при этом часто возникает такое ощущение, как будто речь идет вовсе не об исторической работе, которая всегда посвящена тому, чтобы в рамках уже наличествующего научно-исторического знания придавать некое значение следам, оставшимся от прошлого {9}. Между одними исследователями, которые привыкли все демонстрировать на примере импликаций единичного случая, и другими, которые указывают на его изолированность и считают на том вопрос закрытым, трудно найти общие точки для взаимопонимания. Я попытаюсь здесь это сделать, исходя не из единичных историй и не из абстрактных методологических программ или принципов легитимации устной истории, а из ее практики как специфического вида исторической работы.

## Опрос и память

О способности человека вспоминать то, что было давно, существует мало исследований и литературы, но зато существуют самые различные предположения. Одни сводятся к тому, что память хранит все, другие – что она не сохраняет в изначальном виде ничего; одни рассматривают долговременную память как избирательное хранилище информации, а другие видят в воспоминании реконструирование прошлого с помощью информации, доступной на сегодняшний день, сегодняшних толкований и сегодняшних общественных установлений {10}. В том, что касается устной истории, общим для всех этих представлений является, как правило, то, что они не учитывают сеттинг {11} интервью. Иными словами: процесс воспоминания рассматривается в отрыве от социально-культурной обстановки, которая его запускает и поддерживает. Это тем более удивительно, что самые интенсивные и самые распространенные в нашей культуре формы организованной работы воспоминания – психоанализ и суд – своими практическими возможностями обязаны не общей теории памяти, а процессу взаимодействия в рамках специфического для каждой из них сеттинга. Поэтому для начала я попытаюсь точнее описать коммеморативный характер устноисторического интервью (специфическую констелляцию из ожиданий участников, социальной обстановки, интерактивной процедуры, цели встречи) в отличие от сеанса психоанализа, судебного допроса и полевого социологического исследования {12}.

При всех различиях между психоанализом и допросом в основе обоих лежат одни и те же базовые предположения относительно памяти: и тот, и другой осмысленны лишь в том случае, если существует такая вещь, как воспоминание. В этом утверждении больше глубины, чем кажется на первый взгляд, если учесть социологические концепции воспоминания как реконструирования прошлого с позиций настоящего {13}. Во-первых, и психоанализ, и допрос предполагают, что в человеке наличествует сохраненная информация о прежних переживаниях и чувственных впечатлениях (по крайней мере, о важных) и что она достаточно жива, чтобы ее можно было представить, изложить или хотя бы опознать, – последнее в том случае, если эта хранимая информация сначала была перекрыта другой, не допускалась до сознания, подверглась вытеснению или отрицанию: если такая оборона была сломлена, то за нею не пустота, а способность идентифицировать реконструированные факт или ситуацию как лично пережитые. Во-вторых, и в психоанализе, и в практике судебных допросов исходным предположением является то, что воспоминание не есть нечто само собой разумеющееся и что на него нельзя сразу и безусловно полагаться: оно может быть забыто, может быть вытеснено, может возникнуть психологическое сопротивление его припоминанию, а, вспомнив, человек может отрицать как сам этот факт, так и содержание вспомненного. В-третьих, сходство между психоанализом и допросом состоит в том, что оба исходят из того, что воспоминанию все же присущ элемент произвольности, оно украдкой проникает в сознание сквозь волевую оборону и оставляет там следы в виде ошибок, оговорок или противоречий, которые указывают на изна-

чальное событие и по которым можно к нему придти в процессе расспрашивания. Наконец, общей посылкой психоанализа и судебного допроса является то, что такие живые и активные воспоминания, если их не допускать, могут глубоко нарушить жизнь субъекта и что реинтегрировать их или хотя бы признать в них – значит внутренне освободиться.

В этой концепции памяти, на которой базируются также церковный институт исповеди и разнообразные формы частных разговоров, сконцентрирован вековой общественный опыт. Он свидетельствует о присутствии и активности воспоминаний, давая примеры того, как они бывают важны, как они мешают жить, как они обременяют, как они могут быть хотя бы на время заменены забвением, маскирующими воспоминаниями, ложью. Эти примеры, однако, ничего еще не говорят о том, насколько память способна восстанавливать былые впечатления в менее болезненных ситуациях.

Из трех упомянутых в начале сеттингов социологическое интервью, которое в качестве интервью-рассказа часто даже считают синонимом устной истории {14}, – это то, в котором воспоминание постоянно перерабатывается и документируется в виде текста, но вместе с тем в нем же и наименьшее значение придается содержанию воспоминания, а большее – актуальному влиянию на него со стороны окружающего общества. Там, где воспоминания принимаются обществом всерьез как способ подступить к былой реальности и проверяются в соответствии с общепринятыми правилами, т. е. путем сличения свидетельств, там они высказываются и оцениваются в таких условиях, которые до крайности ограничивают субъективность свидетеля и подчиняют ее представленной в лице судьи перспективе общества. А психоаналитический сеттинг базируется на собственной силе воспоминаний (даже неосознанных) и на такой обстановке, которая призвана обеспечить максимум самостоятельной работы памяти; но за счет действия переноса этот сеттинг вызывает повторную встречу с отрезком первичной социализации; он недоступен для любопытствующей общественности и не порождает никакого текста, способного стать историческим преданием.

При виде такого кривого зеркала работы общественной памяти мне кажется уместной прежде всего позиция информированного скептика в отношении к устной истории, поскольку она заимствует определенные элементы от каждого из трех описанных сеттингов: не превращается ли она из-за этого в «молочно-пушную свинью-несушку», в методологически беспечное смешение добрых намерений, которыми, как известно, вымощена дорога в ад? Или иными словами: как должно быть выстроено и понято интервью-воспоминание, чтобы ответ на этот роковой вопрос не оказался положительным? Прежде всего нужно ясно отдавать себе отчет в том, какие компоненты являются общими для интервью-воспоминания и других сеттингов; затем следует проверить, одинаковы ли они тут и там, не изменяются ли они, не связываются ли они; и наконец, нужно подумать о том, в контексте какой практики мы занимаемся устной историей, потому что историк не может предоставлять никаких терапевтических услуг, у него нет ни власти, ни критериев, чтобы кого-то судить, и он не продуцирует такого знания, которое служило бы руководством к действию.

Общее между интервью-воспоминанием и социологическим интервью {15} – то, что оба являются инструментом науки, т. е. связаны с публичным знанием и воспроизводимыми исследовательскими процедурами. Этим инструментом в ходе разговора создается пригодный для анализа текст. Инициатива принадлежит исследователю, выбор собеседников и содержание интервью вытекают из его исследовательского интереса и из их готовности говорить хотя бы приблизительно на заданную тему. Поэтому разговор носит характер соблазнения или неравного обмена; в случае с интервью-воспоминанием это несколько смягчается за счет того, что многие респонденты в своих ответах усматривают не только любезность по отношению к интервьюеру или к науке, но также отчасти и свое завещание, которое они иначе едва ли смогли бы оставить своему ближайшему окружению. В большинстве случаев за беседой встречаются представители разных социально-культурных групп, каждый со своим особым габитусом, вос-

приятие которого собеседниками определяет стратегию разговора, каждый со своим особым арсеналом способов обмана, которыми он в ходе разговора выманивает или утаивает сведения, и каждый со своими особыми самообманами. Самый частый самообман исследователя состоит в том, что он думает, будто в чем-то превосходит интервьюируемого, а также призван и способен ему как-то помочь. Возможно, это налагаемое им самим на себя наказание за неравный обмен. Самый частый самообман респондентов – особенно при глубинных интервью – состоит в том, что у них поначалу бывают нереалистичные ожидания в отношении исследовательской практики, с которой они сталкиваются, и что потом в ходе долгого интервью у них складываются личные отношения с интервьюером, в результате чего они забывают, что перед ними не только этот человек, но и фигура, представляющая научную работу, индустрию культуры или другие институты, заинтересованные в использовании получаемой от них информации.

С допросом {16} интервью-воспоминание роднит тот опыт, что люди обладают пластичной памятью, которая позволяет им точно описывать впечатления, полученные более или менее давно. Но память эта ограничена произвольными утратами (забыванием), а выражение плодов ее работы может изменяться под сознательным, волевым воздействием (ложь, искажение, умолчание и т. п.). С другой стороны, способность человека вспоминать может быть поддержана и расширена с помощью уточняющих вопросов, предъявления ему сведений из других источников и демонстрации противоречий между его словами и этими сведениями либо между разными частями его высказываний. Это значит, что между активной памятью и полным забвением есть еще зона латентных воспоминаний, которые можно активировать с помощью информации и взаимодействия с собеседником. Опыт показывает, что эти зоны невозможно четко отделить друг от друга, поэтому одно отдельно взятое воспоминание, каким бы убедительным, правдоподобным и информативным оно ни казалось, не может на этом основании быть объявлено истинным. Но путем сопоставления нескольких воспоминаний, каждое из которых проверено на непротиворечивость, убедительность, мотивацию и контекст высказывания, реконструкция события или явления может быть насыщена данными. Когда наступит такая степень насыщенности, которая позволит сделать ответственные заключения, с теоретико-эпистемологической точки зрения точно определить нельзя. Эта критическая точка зависит от сложности описываемого явления, от дистанции между исследователем и его предметом, от того, что ему известно из опыта, и от того, каковы конвенции в данной области. В суде принято считать факт установленным, если о нем говорят два свидетеля; в устной истории этого, как правило, недостаточно, ибо в ней невозможно осуществлять строгий процесс доказательства, предусматривающий институционализированную ролевую игру и привилегированный доступ к информации, а кроме того, ее цель в большинстве случаев – реконструировать значительно более сложные и далеко отстоящие во времени факты, нежели прошлогоднее преступное деяние {17}. Но там, где нет других источников информации, вполне разумно предпринимать насыщенную за счет нескольких проверенных свидетельств-воспоминаний реконструкцию (например, реконструкцию общих условий жизни некоей сравнительно гомогенной группы населения некоего региона), если при этом помнить о том, что результат подобной процедуры будет носить приближенный характер.

Но чаще всего в интервью-воспоминаниях важны не только свидетельские показания по тем или иным фактам, но прежде всего – субъективность участников, проявляющаяся в их характере и ожиданиях, в их особом взгляде, в том, как соединяются друг с другом, казалось бы, совершенно не связанные сферы опыта, и в том, как этот опыт перерабатывается. Ибо эту субъективность, которая в историографии, посвященной господствующим слоям общества, всегда сосуществовала в странном симбиозе со всеобщей историей, устная история стремится вернуть в историю и для других членов общества – даже при том, что от этого может снова развалиться понятие истории, сделанное единым при утверждении буржуазного общества: именно

это имеется в виду под несколько беспомощными формулами «история снизу» или «демократическая история» {18}.

Если сравнить сеттинг биографического интервью и психоанализа {19}, то прежде всего становится ясно, чем такое интервью не является: это не терапия, не изучение содержания ранних биографических этапов, не проработка индивидуальных вытеснений и т. д. За счет этого смягчаются ожидания относительно вклада такого интервью в прояснение «субъективного фактора». Но все же видны и некоторые общие черты. Одна такая черта – допуск в сознание всплывающих воспоминаний и установление ассоциативных связей между ними, когда субъект приближается к трудным моментам своей биографии и, ощущая потребность разъяснить свои воспоминания, снова активизирует в беседе то, что было забыто. Для этого требуется собеседник, который не заявляет слишком больших ожиданий, не задает схемы, не думает, что все уже знает и просто своими вопросами получает и структурирует примеры и свидетельства, тот, кто с любопытством слушает, идет вслед за рассказчиком окольными путями, внимательно следит за побочными линиями действия и рассказывает о том, что он чувствует и что ему не нравится, дабы рассказчик имел шанс решить – вернуться ли ему к той или иной потерянной нити в разговоре, заполнить ли оставленную лакуну, может ли он и хочет ли он опровергнуть первые приходящие на ум толкования? Эта смесь из сдержанного, но благожелательного внимания и дистанцированной, но восприимчивой позиции слушателя делает биографические рассказы интересными. Правда, она предполагает, что интервьюеру – в отличие от обычного сеттинга интервью – удастся частично переложить инициативу на рассказчика, а также, что его восприимчивость и способность по-человечески сопереживать натренированы на анализе собственной биографии.

Другая общая черта устной истории и психоанализа касается концепции биографической субъективности как посредующего звена между ранним воспитанием в лоне семьи и позднейшей жизнью в обществе, так как здесь обнаруживается общая точка опоры и методическая зона пересечения – фаза юности {20}. Устная история, как и всякая другая, лишь очень редко позволяет увидеть первичную социализацию изнутри, в то время как сеттинг психоанализа разве что в субъективно-урезанном виде допускает воспоминания об опыте общественных конфликтов, пережитых взрослым человеком. Жизненный кризис подростка в общем контексте биографической субъективности с обеих сторон играет все более важную роль, и его следует изучать междисциплинарно, методами как психоанализа, так и устной истории.

Несомненно, между компонентами интервью-воспоминания существуют противоречия. Как можно, например, одновременно быть психоаналитически подготовленным, сдержанным комментатором биографических фрагментов и профессионально подготовленным следователем, расследующим обстоятельства, относительно которых интервьюируемый субъект сообщает лишь одно свидетельство из многих? Как можно стремиться к тому, чтобы использовать асимметричную коммуникативную форму интервью в качестве инструмента для достижения большего равноправия в истории? Спастись от таких противоречий можно было бы, заявив, что могут быть разные формы интервью-воспоминания в зависимости от того, что интересует интерпретатора. И с точки зрения практики это даже так и есть. Но с точки зрения методологии противоречие таким способом не снимается, и было бы ошибкой стремиться полностью его устранить, так как исторический интерес, с одной стороны, эвристически ведет исследователя за пределы того, что он уже знал до интервью, а с другой стороны, стремится скорректировать это знание посредством обращения к источникам {21}. Эта двоякая стратегия историка определяет характер и структуру интервью-воспоминания, и в его практике те элементы, которые кажутся гетерогенными, сплавляются воедино. В результате возникает концепция интервью, согласно которой интервьюер должен быть как можно лучше знаком с изучаемыми фактами и вооружен целой обоймой релевантных вопросов (а также набором стандартных социально-статистических данных), чтобы собирать пригодные для сравнения свидетельские показания и

обширный социально-исторический материал, который служит как реконструкции былых реалий, так и имманентной пригодности отчета об интервью для интерпретации. Но не менее важно, чтобы интервьюер выделял своему собеседнику место и уделял внимание, дабы тот мог заполнить их самостоятельно оформленной историей своей жизни и другими ассоциативно связанными с ней воспоминаниями.

Такие свободные пространства для воспоминаний не следует путать с «открытыми вопросами» в полужформализованных интервью, какими пользуются в полевых исследованиях социологи. У них беседа в принципе выстроена по плану – иначе и нельзя, так как стандартизированные фрагменты должны быть сравнимы друг с другом; только после определенных вопросов-импульсов, место которых в структуре беседы заранее задано, остаются более или менее растяжимые пустые пространства, которые может заполнить сам респондент {22}. В устной истории интервью не подчинено этому требованию измеримой сравнимости, потому что реконструктивный и ассоциативный характер воспоминаний позволяет сравнивать в лучшем случае их содержание, но не форму изложения. Фактические вопросы в таком интервью служат сбору социально-исторического материала, и их стандартизация есть прежде всего подспорье для интервьюера, но он может свободно менять их последовательность {23}. Каждый вопрос, даже если изначально это вопрос о годе окончания школы, в интервью-воспоминании является «открытым» – в том смысле, что допускает все «лирические отступления» памяти, которые могут быть им спровоцированы. Если в ответ на вопрос об окончании школы респондент бормочет, как бы нащупывая ответ, что-нибудь вроде: «Это так чудно тогда было...», то только плохой интервьюер скажет: «Давайте для начала восстановим ход событий. Вы после школы стали учиться дальше?»; хороший же интервьюер для начала отложит свой вопросник и поинтересуется, что именно было тогда чудно, а свои вопросы вновь начнет задавать только после того, как респондент закончит свою цепочку ассоциаций, которая может начаться с какого-нибудь происшествия во время выпускного вечера и увести, например, к судьбе кого-то из одноклассников во время войны.

Итак, в интервью-воспоминании постоянно нужно оставлять пространство для того, чтобы респондент мог нащупать свои воспоминания и облечь их в такую форму, какую сам выберет. Во всяком случае, это необходимо в начале, чтобы человек мог рассказать историю своей жизни первый раз в таком порядке и с такой расстановкой акцентов (и с такими умолчаниями), какие ему привычны или какие он считает уместными для разговора с «агентом» науки или публичной сферы. Это будет не только само по себе такой формой культурной репрезентации, которая достойна исторической фиксации {24}: в высказываниях и лакунах выстроится структура, с которой могут посредством дополнительных вопросов ассоциироваться другие воспоминания. Этот процесс имманентных ассоциаций следует продолжать так долго, как позволят обоим собеседникам их терпение и способность к восприятию. В некоторых случаях этот процесс может затянуться на несколько встреч, между которыми процесс воспоминания зачастую не прерывается, так что к следующему разу интервьюера ждет множество новых историй, а иногда также фотоальбомов и писем. Только тогда, когда этот процесс завершится сам собой, интервьюер вернется к заготовленному списку вопросов, но теперь уже будет достаточно задать только те из них, на которые еще не был получен ответ в ходе самостоятельного рассказа или свободного разговора. Эти оставшиеся вопросы, в свою очередь, тоже могут спровоцировать новые ассоциации. В других случаях респондент с недоверием относится к такой игре, декларирует вначале автобиографию «как для отдела кадров», а на дополнительные вопросы отвечает кратко или вовсе словами «как я уже сказал», и при этом все же говорит потом: «Что еще вы хотите узнать?» Это хорошо, потому что тогда бедный интервьюер может достать свой список вопросов и идти по нему, и в таких случаях респондент, как правило, все-таки рано или поздно незаметно для себя поддается потоку своих воспоминаний и ассоциаций, и игра начинается.



У читателя может возникнуть впечатление, будто таким образом запускаются процессы, которым нет конца. Когда мы приступали к нашему проекту, я опасался, что интервью может перетечь в своего рода психоаналитический процесс, а этого мы за отсутствием собственного опыта брать на себя не могли. Практика показала, что эти страхи имели свою причину скорее во мне, чем в наших респондентах. Сравнение сеттингов показывает, что в психоаналитический сеанс невозможно «скатиться»: для этого требуется значительная собственная инициатива и особая обстановка изолированности от внешнего мира. Хотя здесь наблюдаются культурные и социальные различия, все же в целом люди во время интервью в жанре устной истории вполне отдают себе отчет, кто от кого чего хочет, а работающий магнитофон и регулярная смена кассет напоминают им о том, что рассказанное не останется между ними и интервьюером {25}.

Если в интервью вдруг всплывают воспоминания о травматическом опыте, которые человек обычно вытеснял на периферию своего сознания, то интервью может помочь ему не больше, но и не меньше, чем любой другой разговор: человеческое участие, при необходимости – молчание; по желанию респондента такие эмоциональные фрагменты разговора стираются с пленки. Но многие этого и не требуют, потому что рассматривают эти чувства, после того как те выйдут наружу, в качестве части своей подлинной истории и часто испытывают некоторое облегчение от того, что смогли их выразить. Но социальная ситуация интервью ставит, как правило, более тесные границы для рассказываемых воспоминаний, чем, например, откровенный разговор незнакомых «вагонных попутчиков». Интервьюер в подобных случаях не имеет права покидать свою участливо-пассивную позицию по отношению к ассоциациям респондента и «докапываться». Это этически неприемлемо, поскольку он не сможет ничем помочь рассказчику, если ситуация станет для того эмоционально тяжелой; но это кроме того обычно и неэффективно, поскольку человек немедленно закроется, как только заметит, что нахлынувшие на него эмоционально нагруженные воспоминания и сильные чувства, вырвавшиеся из-под его контроля, собираются эксплуатировать в исследовательских целях. А если проект специально нацелен на изучение специфического травматичного опыта – как, например, у бывших узников концлагерей и других жертв насилия, – тогда есть веские основания для исторического документирования таких эмоциональных рассказов, и оно может соответствовать пожеланиям самих респондентов. Но тогда ни в коем случае нельзя проводить подобные интервью без психологического сопровождения {26}. Ведь предметом разговора является здесь историчность личной травмы, а пережитые людьми унижение или опасность для жизни зачастую бывали такими глубокими, что некоторые из жертв сумели вернуться к самостоятельной жизни только за счет того, что им удалось как бы заключить этот экстремальный опыт в герметическую капсулу в своей памяти. Возможно ли, допустимо ли (и при каких условиях) нарушить этот процесс рубцевания – вопросы, на которые историк отвечать не компетентен. Он может только в той мере сотрудничать с интервьюируемым человеком в деле производства публичного исторического знания, в какой тот может и хочет что-то ему сообщать.

Но, как показывает опыт, в обычных условиях люди могут вспомнить и считают достойным рассказа не столь уж многое. Длительность интервью в проектах по устной истории сильно различается от темы к теме и еще больше – от респондента к респонденту, но чтобы интервью было действительно содержательным, оно требует двух встреч по несколько часов каждая как минимум – но иногда и как максимум. После четырех-пяти встреч в подавляющем большинстве случаев разговор замирает, а договоренности о новых встречах добиться все труднее {27}. Исключения составляют лишь немногие интервью, как правило, ярко выраженного автобиографического характера {28}. А иногда ассоциативный процесс припоминания вовсе не «запускается» – потому ли, что интервьюируемый его избегает, или потому что интервьюер кажется ему несимпатичным, незаинтересованным или не вызывающим доверия; в таких случаях интервью оказывается неудачным, даже если на все вопросы из списка получены ответы.

К числу элементов саморегуляции в сеттинге относится и сама готовность дать интервью-воспоминание. Поначалу у меня были сомнения по поводу того, сумеем ли мы найти достаточное количество «добровольцев», которые согласились бы с нами сотрудничать; этот страх оказался в нашем случае безосновательным: нам очень редко отказывали в интервью те, к кому мы обращались, и был даже целый ряд добровольцев, откликнувшихся на газетные объявления, т. е. проявивших собственную инициативу {29}. И во время разговоров нас часто удивляло, с какой охотой люди вспоминали и рассказывали. Это, должно быть, объяснялось и тем, что опрашивали мы рабочих или тех, кто вышел из их среды, и тем, что в Рурской области приняты открытые формы общения. Если же проанализировать опыт этого и других проектов в том, что касается трудностей с нахождением респондентов и получением от них достаточно обстоятельных сведений, то представляется, что эти трудности связаны с двумя группами факторов: во-первых, таким затрудняющим фактором является принадлежность человека к группе с жестким социальным контролем, который стирает индивидуальное в памяти, подвергает высказывания цензуре или заставляет делать их так, чтобы они не вызвали доверия (например, сохранившееся деревенское сообщество). Во-вторых, это личная неуверенность человека в том, что ему в разговоре с незнакомцем удастся совладать с собственными воспоминаниями {30}.

Все эти ограничения, вытекающие из характера сеттинга интервью-воспоминания, приходится принимать как границы возможностей всей устной истории. Конечно, того или иного потенциального респондента, который сначала отмахнулся от просьбы об интервью, можно убедить с помощью разумного и правдоподобного разъяснения сути проекта, так что он все-таки согласится сотрудничать. Но в остальном рекомендуется избегать всяких попыток раздвинуть эти границы с помощью каких бы то ни было уловок, например, давить на человека с целью принудить его к интервью или во время разговора хитростью вытягивать из него какие-то воспоминания сверх тех, которые он готов сознательно поведать в условиях свободного диалога. Это проблемы этики исследования: народный опыт в истории не следует проявлять в большей степени, чем этого хотят те, кому он принадлежит. Но кроме того, это же и источник ошибок, и ложная экономия в исследовательской работе: человек, который ощущает, что его против воли впустили в ситуацию припоминания {31} (если только дело не происходит на допросе в полиции), имеет массу возможностей выпутаться из этой ситуации: он может вышвырнуть интервьюера за дверь, может спустить интервью на тормозах, может наврать с три короба, а может со всей вежливостью сознательно накормить интервьюера – так, что тот этого зачастую и заметить не сможет, – камуфлирующими воспоминаниями. Интервью-воспоминание – не допрос, а добровольное соглашение, и хрупкие ищущие движения памяти начнутся только тогда, когда в отношениях между собеседниками останется не больше недоверия, чем приличествует подобной встрече.

Если сеттинг со всеми его ограничениями принят, то интервью может дать массу сведений и рассказов о вещах, информация о которых больше нигде не сохранилась. С помощью специального дифференцированного комплекса вопросов эти данные можно проверить на достоверность, а потом, привлекая сопоставимые сообщения, «насытить» их. Особенно щедрыми на подобную информацию оказываются в устной истории два уровня памяти: активный и латентный. На уровне активной долговременной памяти, где лежит то, что постоянно нужно и вспоминается без особых усилий, у людей в нашем обществе хранятся три запаса воспоминаний, которые с большой регулярностью проявляются в ходе интервью-воспоминаний.

Представление человека о своей жизни в целом {32}, состоящее, во-первых, из актуального толкования (принцип конструирования биографии) и, во-вторых, из переработанной реальной информации по нескольким избранным внешним этапам жизни: эта информация никогда не бывает исчерпывающей, но редко бывает ложной. Этот набор можно путем распросов обычно без труда расширить до более сложного и многостороннего рассказа о внеш-

них условиях жизни (включая последовательность семейных констелляций, профессиональных функций и условий труда, имущественных и социальных статусов и т. д.). Есть обойма стандартных историй, которые рассказывают, как говорится, по любому случаю, и они уже хорошо зарекомендовали себя как коммуникативные блоки. В них могут описываться оригинальные или не оригинальные события и переживания, они могут быть обкатаны вкусами меняющейся аудитории, как галька морской водой. Поэтому их характер слишком произволен и случаен, чтобы их использовать для исторической реконструкции, но они могут содержать в себе интересные свидетельства переработки опыта и установок респондента, а главное – стиля его коммуникации с окружением.

Далее есть латентный уровень памяти, на который в ходе интервью-воспоминания можно попасть через реконструкции и ассоциации. Тут все зависит от специфического взаимодействия между собеседниками, так что ни ход, ни результативность разговора предугадать нельзя. На этом уровне обнаруживаются воспоминания, которые когда-то по некоей (зачастую с трудом поддающейся выяснению) причине были важны; они касаются либо рутинных вещей (т. е. многократно повторяемых в повседневной жизни действий или впечатлений), либо ситуаций приобретения нового опыта (т. е. встреч с чем-то прежде неведомым).

Рутинные действия, ощущения и состояния, которые когда-то были настолько важны, что сохранились в памяти, вспоминаются, судя по всему, образно. Поэтому респонденты зачастую могут с большой подробностью описать их заинтересованному слушателю, который своим вопросом вырвет эти вещи из незначимости будничного и, возможно, даже поможет респонденту их реконструировать, приводя свидетельства из других источников. Эти описания не обладают сами по себе нарративной структурой и не претендуют на статус смыслового высказывания, хотя могут спровоцировать по ассоциации дальнейшие рассказы.

Ассоциативные рассказы, которые (подобно названным выше «стандартным историям») имеют форму сцен или эпизодов, знакомят слушателя с ситуациями, в которых рассказчик столкнулся с чем-то новым, для переработки чего еще не существовало категориального аппарата, и что поэтому отпечаталось в памяти во всей событийной пластичности. Поэтому в биографических интервью, когда речь идет о юности, а затем снова, когда речь идет о чрезвычайных ситуациях (экзистенциальных и общественных кризисах, войне и т. п.), историй рассказывается множество, в то время как фазы нормальной жизни, во-первых, вообще описываются реже и меньше, обычно только после наводящих вопросов, а во-вторых, скорее характеризуются, оцениваются, нежели пересказываются. Набор стандартных историй из фонда информации, пригодной для ассоциирования, ничего не говорит об их исторической оригинальности, наоборот, в той мере, в какой они вообще не выдуманы, а прожиты рассказчиком, они активны потому, что их смысл согласуется с тем, что сегодня думает рассказчик, и/или потому, что то смешное (либо драматичное), что в них заключено, хорошо себя зарекомендовало в процессе коммуникации, а может быть, только в ходе этого процесса и сложилось по-настоящему.

## **Структура текста и индивидуальность рассказа**

Результат интервью-воспоминания – звуковой протокол, т. е. ряд магнитофонных кассет, на которых записаны те звуки, которые во время интервью достигали микрофона. Я так обстоятельно это проговариваю, чтобы подчеркнуть, что такое интервью не только зависит от производственных условий, заданных определенной социальной ситуацией, но и в техническом плане фиксируется лишь в очень урезанной и отчужденной форме. Звуковой протокол ничего не говорит о том, что предшествовало беседе, что говорилось во время смены кассет и после интервью, что сообщалось или комментировалось взглядами и жестами (магнитофонная запись вообще не фиксирует зрительной информации, а та может быть очень важна для вза-

имного восприятия собеседников) {33}. То, что произносилось в сторону, зачастую столь же трудно разобрать, как и те пассажи, в которых накладываются друг на друга несколько голосов {34}, а какие-то слова, которые интервьюер прекрасно помнит (потому что он внимательно слушал респондента и смотрел ему в лицо, считывая слова по губам), на пленке могут оказаться полностью заглушены звонком телефона, лаем собаки, шумом проезжающего трамвая или звоном чашек.

Кроме того, услышав (особенно впервые) магнитофонную запись собственной речи, большинство людей удивляются или раздражаются, потому что не узнают самих себя. Дело не только в плохом качестве звукозаписи, и не только в том, что человеческий голос по-разному слышится изнутри и снаружи: дело еще и в том, что когда рассказ сводится к своей акустической составляющей, то его языковая форма (интонация, диалектные особенности, артикуляция, грамматика) приобретают такую значимость, которой говорящий не предполагал, пока шла живая беседа, и это вызывает потом эффект отчуждения. На следующей фазе обработки, когда интервью транскрибируется и превращается в письменный текст, происходит дальнейшая редукция и дальнейшее отчуждение, и тогда то, что в виде звучащей речи было понятным, начинает выглядеть так, что может вызвать еще гораздо более сильное раздражение {35}: человек видит свое устное высказывание облеченным в такую форму – форму письменного текста, – в которой он сам высказывался бы иначе.

Этот диссонанс можно при транскрибировании несколько смягчить либо за счет точной письменной передачи звуков устной речи, либо за счет более или менее полного «перевода» сказанного на литературный язык. В первом случае возникает искусственный текст, который сильно отличается от обычного письменного текста, но, как правило, читать его, а тем более с интересом, смогут только лингвисты: для фиксирования исторической информации такая форма малопригодна {36}. Во втором случае возникает другой искусственный текст, который как источник оказывается обеднен, т. е. лишен многих пригодных для интерпретации аспектов и искажен толкованиями переводчика {37}. А если подобные «переведенные» тексты потом еще и публикуются в виде разрозненных фрагментов, где исключены слова интервьюера (т. е. последние указания на то, как данный текст возник), то создается иллюзия оригинального народного текста. Здесь отчуждение конечной формы от изначального интервью достигает своей вершины. Эта частая ошибка особенно легко совершается потому, что в устной истории ставится задача приблизиться к субъектам и оригинальности их опыта (хотя возможности такого приближения ограничены условиями возникновения и передачи информации в контексте интервью-воспоминания), а во-вторых, потому, что акустическое качество и объем сообщаемой в интервью информации служат препятствиями на пути ее анализа и публикации, и, в-третьих, потому, что исследователю трудно иметь дело со сложной структурой текста, который, как кажется, составлен из множества отдельных фрагментов.

И все-таки именно от этого трудно структурированного текста, в котором рассказ сведен сначала к акустической составляющей, а потом и к ее письменной транскрипции, должна отправляться историческая интерпретация, потому что этим сохраняется в пригодном для всех типов анализа виде наиболее сложная из поддающихся традированию форм интервью. Назовем вкратце основные элементы этой структуры текста.

В первую очередь речь идет об отражении акта социального взаимодействия {38}, в котором инициатива исходит от интервьюера, а у интервьюируемого могут быть одновременно несколько адресатов: интервьюер, с которым он имеет дело; через него – общественность или наука как социальный институт; отсутствующие коммуникативные партнеры респондента, когда он воспроизводит либо диалоги с ними, либо уже отрепетированные на них истории. При групповых интервью все это изначально зависит от отношений между интервьюируемыми. В индивидуальных бывает так, что респондент на какое-то время уходит в свои воспоминания и говорит словно бы с самим собой или с каким-то прежним собеседником.

Во-вторых, мы имеем дело с одной или несколькими версиями биографии респондента. Как правило, таких версий две: сначала краткое изложение, какое обычно рассказывают посторонним людям (например, в резюме или при приеме на работу и т. д.), причем отбор данных, которые заслуживают упоминания, позволяет узнать кое-что о культурных ожиданиях и – при сравнении нескольких биографий, относящихся к одной и той же культуре, – о личности респондента. Потом рассказывается расширенная история жизни, в которой сводятся вместе все биографические сведения, содержащиеся в интервью. Вторая версия, которая содержит элементы реконструкции, позволяет более отчетливо разглядеть контуры первой, но тоже остается в рамках того, что относится к биографическому сознанию респондента и, как правило, к его представлениям о том, какая информация не является приватной. Хотя биографические элементы зачастую содержат указания на бессознательные сферы и ключевые переживания детства, интерпретатору все же не следует забывать, что у него, как и у любого другого историка, нет возможностей для валидации его предположений по этому поводу, но в отличие от других авторов, пишущих исторические биографии, против его интерпретаций и догадок респондент может возразить {39}.

В-третьих, текст состоит из множества сведений; часть их получена в ответ на стандартизованные вопросы, часть – с помощью вопросов в вольной форме, часть содержится в рассказах респондента на другие темы. Из самих этих сведений не ясно, верны они или нет, ведь в неконтролируемости памяти и культурного взаимодействия существует множество мыслимых причин для предоставления неверных сведений. Но в отличие от многих социологических опросов вопрос об истинности сведений в устной истории релевантен, потому что история раскрывает свой критический потенциал именно в процессе соотнесения современных высказываний с имеющимся источниковым материалом. Поэтому необходимо подкреплять сведения, содержащиеся в интервью, независимо от их внутренней непротиворечивости и убедительности, данными из других интервью и сопоставлением с источниками других типов.

В-четвертых, почти в каждом интервью-воспоминании содержатся рассказы, которые непредсказуемым образом распределяются по всей продолжительности разговора. Стиль рассказа может определяться стилем беседы во время интервью, сценической формой самих воспоминаний или коммуникативным кодексом данной культуры. Эти рассказы – самое большое сокровище устной истории, потому что в них эстетически сплавляются воедино фактические и смысловые высказывания. Но вместе с тем их же и труднее всего исторически интерпретировать, потому что момент их сплавления располагается где-то между моментом событий и моментом рассказа о них.

Все эти элементы соединяются в «текст», причем не в планируемом порядке, а хаотически, в такой последовательности, которая вытекает из интерактивного характера разговора и ассоциативного характера памяти. Таким образом, текст обычно не следует вполне ни хронологии, ни намеченному порядку вопросов, ни выдерживаемой рассказчиком канве повествования, ни тематике диалога. Хронологическую канву жизни, как правило, в интервью проходят два или более раз, от случая к случаю нарушая ее, забегая вперед или возвращаясь назад. Тематические группы «вопросника» приспособляются к нарративным приоритетам респондента и темам, которые ему приходят в голову в процессе воспоминания. За счет этого интервью получается настолько дробно фрагментированным, что приходится все время заново конструировать предмет и проблематику обсуждения, или те повествовательные «колеи» {40}, в которых рассказчик присоединяет по ассоциации различные предметы к главной теме; т. е. все время делается только шаг вперед и под иным углом зрения сообщаются взаимно перекрывающиеся и дополняющие друг друга контрольные сведения по одной и той же теме. Это, разумеется, в еще большей степени касается такого интервью, которое продолжается несколько встреч и всякий раз как бы начинается заново.

Эта смешанная формальная структура «текста» интервью-воспоминания отличает его от используемого в социологии нарративного интервью и имеет далеко идущие последствия для его исторического анализа и публицистического использования. В ней проявляется характер устной истории как двоякой встречи: с одной стороны, это встреча между общественным институтом науки и индивидуальным субъектом (как в социологических качественных исследованиях), с другой стороны, это встреча между настоящим и прошлым. Эта последняя, с одной стороны, вызвана вопросами исследователя, а с другой стороны, происходит в субъективных ассоциациях вспоминаемых и сочиняемых историй, поэтому оба уровня встречи пересекаются друг с другом. Разнородные блоки, из которых строится текст: биографическая справка, информационные молекулы ответов на фактические вопросы, миниатюры эстетически завершенных рассказов – возникают в рамках динамики взаимодействия. В ней субъект-носитель опыта определяет, о чем он будет вспоминать и что из этих воспоминаний, в какой форме и в какой интерпретации он хочет передать данному интервьюеру, данному проекту, данной общественности; при этом на протяжении интервью как способность человека к воспоминанию, так и желание поделиться воспомненным могут меняться. А представитель науки {41} в этом взаимодействии определяет, где и как брать на себя инициативу по организации такого интервью-воспоминания, о чем и сколько спрашивать, какие высказывания данного респондента считать в свете своих научных познаний о прошлом достоверными и информативными; в ходе долгого интервью (и проекта) как этот его интерес, так и его познания тоже могут меняться.

Поэтому для анализа полученного в результате интервью текста необходимо его обработать. Такая обработка позволяет воспринимать как целое, так и отдельные блоки, составляющие его, и их интерпретативно связывать друг с другом, со сравнимыми блоками из других интервью и с научными знаниями. Для этого нужны промежуточные ступени редукции (краткое изложение данных, резюме интервью, индексация сообщенных в нем фактических сведений, выписка из него «историй») {42}, которые делают весь текстовый материал обозримым и пригодным для сопоставления, а также обеспечивают возможность учитывать контекст при интерпретации блоков по отдельности. Полные транскрипты не выполняют такой задачи по организации информации (не говоря даже об информационных потерях при переводе в письменную форму); будучи более легки в обращении, чем акустическая запись, вводят в соблазн при анализе полностью избавиться от нее. Частичные транскрипты предполагают такую организацию данных, и через проблематику отбора фрагментов они снова и снова возвращают исследователя к магнитофонной пленке как самому верному и информативному способу фиксации информации. Поэтому, на мой взгляд, им стоит отдавать предпочтение. Вовсе без транскриптов при анализе не обойтись, потому что звуковой протокол оставляет слишком мало времени на осмысление только что услышанного, а кроме того дополнительное отчуждение, возникающее при записывании устных рассказов, может заставить интерпретатора внимательнее отнестись к их содержанию, импликациям, языку и эстетике.

Дело в том, что справедливость по отношению к субъекту опыта, уделение ему подобающего места в истории не требуют просто верить всему, что он расскажет: такая некритическая «вера» (и публикация, перемещающая слова респондента в совершенно иные контексты) была бы абсурдна, если учесть структуры взаимодействия и памяти, и означала бы, что рассказчикам не будет оказана обещанная услуга – ввести их в историю. Скорее для этого необходимы критический анализ и интерпретация, в ходе которых исследователь старается определить, к какому временному пласту относится тот или иной блок текста, сводит и упорядочивает рассеянные данные, проверяет их и делает пригодными для использования при реконструкции условий жизни былой эпохи или при осмыслении важнейших высказываний субъекта. Благодаря этому становится понятна их значимость в их историческом контексте. Но этот важнейший, на мой взгляд, шаг связан по необходимости не только с выходом из имманентности «текста», но

и с перспективным сужением его сложности. Ведь этот шаг требует отбора и содержательного структурирования, которых не заменят предпосылки понимания и познавательные интересы исследователя.

В этой точке мы встречаемся с исконной проблемой социологии {43} – в историческом ее варианте: каков тот шаг, который от репрезентации индивидуального и его сложности ведет к познанию его значения и более общих взаимосвязей? Со времен Макса Вебера этот шаг во многих общественнонаучных дисциплинах понимают как шаг от субъективной реальности индивида, в которую исследователь может только вчувствоваться, но не может ее познать, к научной эмпирии. Для нее этот субъект – объект анализа, один случай из многих, сравнение которых позволяет увидеть специфические взаимосвязи между причинами (такими как возраст, происхождение, специальность, доход и др.) и следствиями (такими как установки, поведение). Эти взаимосвязи могут быть сформулированы в виде гипотезы, гипотеза может быть проверена, а ее объяснительная сила – измерена. Потребность в точном измерении возникает в конечном счете из прагматического познавательного интереса – постольку, поскольку изучение социальных закономерностей призвано служить будущему управлению ими. Эти процедуры и интересы, в принципе приходящие извне, в своей противоположности индивидуальному восприятию действительности обеспечивают для позитивистской традиции научность всего предприятия {44}. Устной истории тоже предъявляют такое понимание науки, когда задают вопрос о репрезентативности ее данных.

Такая эпистемологическая модель малопривлекательна для нашего случая: во-первых, устная история не располагает практическими возможностями проверить статистическую репрезентативность своих данных {45}, а во-вторых, она вообще, с одной стороны, предъявляет чрезмерные требования к материалу историка, а с другой – ограничивает его познавательные возможности. Чрезмерны требования потому, что процесс традирования исторической информации весьма сложен и не сводится к количественным аспектам. Ведь то, что дошло до нас от прошлого, – это его следы, зачастую произвольные, фрагментированные остатки прежней реальности и традиции: это в устной истории точно так же, как при раскопках развалин древнего города или при исследовании отношений между двумя монархиями. Какие следы сохранились и насколько они до нас дошли – измерить невозможно, в конечном счете приблизительно определять и принимать в расчет это вообще можно только в каждом конкретном случае {46}. Однако, существуют, разумеется, поддающиеся измерениям серийные источники, и их количественный анализ может дать ценные контрольные данные; вместе с тем он может и помочь уточнить неверные данные, как если бы мы измеряли льдину, плавающую в неизвестном океане.

Если бы мы захотели определять соотношение между единичным случаем и его значением только по правилам статистической репрезентативности, то исторический интерес оставался бы прикован к контингентной имманентности определенных фрагментов исторической информации и не мог бы найти ни взаимосвязей в прошлом, ни нашего отношения к ним, и невозможно было бы скорректировать это отношение путем сверки с источниками. Но ограничиваться измеримым не нужно, поскольку применительно к прошлому нет необходимости совершать какие-то поступки, и поэтому уроки истории не заключают в себе никакого руководства к непосредственному действию {47}. Изучение прошлого служит расширению нашего восприятия и корректировке искаженной при передаче информации, а также – наряду с развлечением и наглядными примерами – дает прежде всего понимание некоторых вещей и немножко свободы. Для этой цели годится и помимо измеримой точности любой разумный подход, если он только адекватен материалу и эпистемологически прозрачен.

Поэтому в последние годы в социальной истории (а еще раньше – в социологии, потому что процесс измерения зачастую и в современности исключает сложные постановки вопроса, ориентированные прежде всего на понимание) снова стала чаще использоваться иная эпи-

стемологическая модель: монографическое исследование, микроисследование, качественное исследование. На сравнительно изолированных единичных примерах изучаются связи внутри сложных социокультурных комплексов {48}. Фредерик Лепле – отец этого исследовательского метода {49} – облек свой (и многих, кто занимается устной историей) опыт отчуждения сокращенных предположений и достижения новых осознаний в оптимистические слова:

Когда наблюдение начинается, возникает впечатление, что количество фактов растет бесконечно...; с каждым новым шагом возникают новые сопротивления, и скоро у наблюдателя возникает искушение оставить свою затею. Но если он будет упорен, то в конце концов он доберется до такой фазы, где факты, образно говоря, сами собой разложатся в единую схему {50}.

То, о чем говорит Лепле в первой части процитированного высказывания, мы в нашем проекте назвали «шоком детипизации»: когда исследователь достаточно пристально всматривается в жизненную действительность своих собеседников и их толкования собственных воспоминаний, то он утрачивает уверенность в правильности тех вопросов и представлений, с которыми пришел на интервью; материал ведет его дальше, возникают бесчисленные связки и новые вопросы, причем происходящее невозможно описать как опровержение и переформулирование некоей гипотезы {51}. Скорее это процесс частичного изменения собственной идентичности и собственного видения мира. Процесс этот протекает зачастую почти незаметно, но нередко в итоге все же прорывается наружу эмоциональными взрывами: лихорадкой открытия, депрессиями, чрезмерным отождествлением себя с опрашиваемыми или возникающим чувством злости в их адрес или в адрес других исследователей. Альтернатива «рациональная объяснительная работа (через дистанцирование) *versus* вчувствование (через приближение)», при которой в обоих случаях исследователь подозревает в неразумии свой объект исследования, а не самого себя {52}, – представляет собой программу борьбы с саморефлексией, потому что в ней сплетаются воедино мысли и чувства. Эмоциональное напряжение невозможно снять одним только усилием разума. Этот процесс прояснения, при котором может оказаться полезной супервизия, необходим для того, чтобы результат работы не состоял из произвольных проекций. Заменить его отступлением на оценивающую дистанцию нельзя, потому что масштабы оценки окажутся тогда неадекватными. Проблема заключается не в том, чтобы обрести дистанцию, а в том, чтобы воспринимать существующую и сделать ее инструментом понимания.

Насколько необходимо для дальнейшей плодотворной работы ученому разобраться с самим собой, настолько же этого одного недостаточно для достижения цели. Многие проекты по устной истории, застрявшие на стадии сбора материала, свидетельствуют о том, что шок детипизации и его преодоление очень трудны. Но то, как описывает Лепле во второй фразе дальнейшую работу, очень напоминает ту рекламу сигарет, в которой говорится, что в затруднительной ситуации надо лишь «наслаждаться всей душой», и тогда «все пойдет само собой». Одного только упорства недостаточно, ведь если факты сами собой раскладываются в единую схему, то значит, что перед нами, скорее всего, либо гениальное озарение, либо рационализированная проекция, и у исследователя нет критерия, чтобы отличить одно от другого. Упорство, о котором пишет Лепле, создает поначалу только творческое напряжение; помимо него сегодня можно назвать еще четыре рабочие операции, которые могут привести исследователя от встречи со сложными единичными случаями к более общим выводам: это содержательное уточнение воспринимаемой чужести, реконструкция ее предпосылок, насыщение ее за счет сравнения и проверка ее по тексту.

Первый шаг называют часто также «взглядом этнолога» {53}. Этнолог не разглядывает объект сквозь очки предзаданных категоризаций или ожиданий: он сначала смотрит, как люди решают и интерпретируют основные жизненные проблемы, такие как рождение и воспитание детей, половое созревание и сексуальное поведение, обеспечение экономического воспроиз-



водства и распоряжение излишками, виды деятельности и привычки, характерные для того или иного пола и возраста, обращение с болезнью и смертью. Этнолог во всех этих базовых ситуациях обращает внимание на видимые социальные связи и отношения, конфликты и проявления власти, разделения труда и социальной эксклюзии. Отмечая то, что его раздражает, исследователь обращает особое внимание на эти вещи, которые представляются ему чуждыми и которых он не понимает; он описывает это и просит объяснить. Во всем, что ему говорят, он прислушивается не только к словам, но и к умолчаниям, хотя еще не знает, скрывается ли за молчанием нечто настолько банальное, что люди не считают нужным проговаривать это, или же какая-то тайна, которую не доверяют незнакомцу. Такой способ восприятия можно в основных чертах перенести из антропологической практики включенного наблюдения в практику проведения и анализа интервью-воспоминаний. В результате возникнет материал, который позволит описывать и истолковывать различие между тем, что считается нормальным в изучаемой социальной культуре, и тем, что представляется нормальным исследователю.

Внимание к структурным различиям {54} возникает, конечно, не «словно само собой», а из попытки объяснить материал, обращаясь к обстоятельствам его возникновения. Что было имплицитно заложено в высказываниях респондентов? Как можно разрешить противоречия? Как то, что поначалу непонятно, можно разъяснить с помощью дополняющих предположений или соединения других сведений, полученных от того же информанта? В рамках какого видения мира, при каких материальных условиях, в контексте каких социальных связей и отношений, в какой грамматике мышления и общения обладает смыслом то, что показалось исследователю необычным, экзотическим или иррациональным? Пытаясь упростить материал или сделать его внутренне непротиворечивым, исследователь выходит на лежащий под материалом или вне его уровень структур, которые предшествуют поступкам и высказываниям индивида, — они и обеспечивают возможность его диалога с окружением и, в частности, с интервьюирующим его незнакомцем {55}.

Но было бы весьма рискованной затеей (особенно в исследовании по современной истории) пытаться описывать содержание и масштабы таких латентных структур на основе одного единичного свидетельства. Потому что в той мере, в какой ослабевает сила формирующего воздействия и уменьшается гомогенность социальных субкультур (условий жизни, характерных для той или иной профессиональной группы, общественно-имущественного слоя или региона), нарастает индивидуальность жизненных историй или они группируются в типы биографий (с особыми ментальными структурами и кодами, социальными и трудовыми отношениями), тонкие различия между которыми уже не так явно отражают тот малый космос, в котором живет каждый данный индивид. Однако не только в таких условиях, но и в жизненных средах, выглядящих стабильными, высказывания субъектов всегда определяются как структурами их социального существования, так и индивидуальностью их биографии. Одно невозможно отделить от другого в сложных высказываниях индивида, но при сравнении нескольких высказываний, принадлежащих членам одной группы, объединенным общими структурами, сходства и различия проявляются более отчетливо, становится видно пространство свободы, которое они оставляют индивиду, и возникает возможность хотя бы в общих чертах распознать различные системы отсчета и границы действия каждой из них {56}. Это насыщение и дифференциация латентных структур путем сравнения осуществляются тем скорее, чем более замкнутой и гомогенной является группа, которой принадлежат опрошенные. И наоборот, степень насыщения и дифференциации очень трудно определить или хотя бы зафиксировать применительно к отдельным сферам опыта, когда биографии очень различны, когда материальные и культурные условия жизни неоднородны и непостоянны, а также когда исследователь существует в тех же самых условиях и поэтому их специфические отличия не бросаются ему в глаза.

Перечисленные до сих пор шаги от особого к общему уводили в сторону от непосредственного восприятия конкретного исторического материала, от наблюдения. Если обнару-

женные структуры валидны, то они должны проявляться и в приложении к отдельно взятому тексту. Предлагаемый новый способ прочтения текста призван обеспечить более глубокое понимание его высказываний, учитывающее их исторический контекст. Когда я говорю здесь о «тексте», я имею в виду прежде всего отдельные, завершённые по форме истории. Эти рассказы в рассказе, т. е. в интервью {57}, – плотные, сложные, осмысленные истории – невозможно понять с помощью неопределённого «вчувствования». Подступиться к ним можно на двух уровнях: во-первых, через разработку этого источникового текста, каковая предполагает все вышеназванные шаги и добавляет к ним методы критики источников, формальный и языковой анализ: этот уровень я буду в дальнейшем именовать герменевтическим; во-вторых, через целостное восприятие таких произведений устной литературы: этот уровень я буду в дальнейшем именовать эстетическим.

## Герменевтика

Герменевтика как учение о понимании текстов требует прежде всего осуществлять критику источника, т. е. предполагает попытку определить форму изучаемого текста, его положение в контексте и его происхождение, учитывая историю данного интервью, его участников и общую взаимосвязь рассказанного. В историческом анализе интервью-воспоминания главное – это определить, дают ли содержание и/или форма текста указания на тот временной пласт, к которому относится история. Этот шаг в работе не специфичен для устной истории, он – часть стандартного репертуара исторической критики источников {58}.

Если, например, содержание рассказа заставляет предполагать иной смысл, нежели тот, который придается ему за счет использования его в коммуникативном контексте интервью, то будет, как правило, обоснованным предположение, что имела место какая-то более давняя, так сказать, ошибочно примешанная в силу ассоциативного характера памяти история. Если интервьюируемый утверждает, что пересказывает диалог, происходивший пятьдесят лет назад, а в тексте при этом содержатся выражения и ссылки на имена или факты, которые до войны еще не были известны, то интересно выяснить, что имел в виду автор, придумывая (неудачно) якобы подлинный разговор. Но верно и другое: если рассказчик использует слова и образы, принадлежащие позднейшей эпохе или изобразительному языку позднейшего кинематографа, то это еще не обязательно значит, что его воспоминание о травматическом опыте, имевшем место в детстве, во время войны и т. п., ложно. Ведь переживание имело место в словесной форме, и так, не облеченным в слова оно хранилось в памяти, чтобы когда-нибудь быть изложенным с помощью языковых и прочих выразительных средств, имеющихся в распоряжении человека на момент рассказа. Интерпретатору в таком случае следует обратить внимание на те обстоятельства, в которых имели место описываемые события, а также на то, как о них рассказывает респондент (это лучше сделать, слушая магнитофонную запись). При занятиях устной историей на первом месте стоит не «изучение подделок», а стремление более точно определить момент возникновения того опыта и тех смысловых связей, которые описываются в рассказах опрошенных. Если, например, анализируя повествование о некоем предмете, относящемся к 1920-м годам, по его языковой форме и референтным связям удастся определить, что смысл этого рассказа возник в коммуникативном контексте 1950-х годов, то для истории человеческого жизненного опыта (*Erfahrungsgeschichte*) это означает не меньший «улов», чем если бы оказалось, что рассказ «подлинный» в том смысле, что его референтные связи ведут именно в 1920-е годы.

Потом, основываясь на критической оценке текста как источника, можно попытаться более точно истолковать его смысл, полнее учитывая историю возникновения этого текста и коммуникативные особенности его формы. В прежней герменевтике и дройзеновской «историке» {59} считалось, что смысловое понимание текста возможно постольку, поскольку интер-

претатор является, как и автор, человеком. Однако такая привязка возможности понимания ко внеисторической видовой категории ничего не дает, потому что человек есть не какое-то живое существо вообще, а в каждом случае культурно, социально и исторически определенное существо. Культурная деятельность, такая как историческая интерпретация, не может абстрагироваться от этой индивидуальной определенности автора и интерпретатора текста, а должна отправляться именно от их различия. Поэтому в более новых версиях герменевтики она понимается не как установление прямой связи между двумя далеко отстоящими друг от друга людьми, а как метод, в соответствии с которым смыслы, соединяющие миропонимание текста и интерпретатора, прилагаются к интерпретируемому тексту и проверяются на совпадения и различия {60}. Но откуда берутся эти смыслы?

Тут нам помогут упомянутые выше шаги: первое – этнологическое восприятие чужести, или различия, второе – объяснение их конструкцией латентных структур, третье – насыщение этих структур и четвертое – ограничение их протяженности за счет сопоставления с другим материалом. Иными словами, интерпретация не должна опираться на туманное и априорное понимание, существующее у интерпретатора еще до начала работы с текстом. Он может проверять на отдельных текстах смыслы, которые происходят из методологически уточненного восприятия самого интервью {61}.

В результате – как, надеюсь, мне удалось показать, – исторический анализ интервью-воспоминаний даже при невозможности статистически репрезентативных утверждений позволяет посредством методических шагов устанавливать связь между текстом единичного случая и историческим контекстом. С одной стороны, эти шаги могут дать ключи к интерпретации отдельных рассказов, так что их тексты откроются для нового, более глубокого прочтения и обретут значимость в рамках более широких исторических контекстов. С другой стороны, благодаря вниманию к различиям, эти шаги позволяют прозрачным образом делать обобщения или утверждения относительно структур. Эти интерпретации и обобщения, однако, суть гипотетические истолкования, которые свидетельствуют о перцептивных предпосылках интерпретатора.

## Границы «антропологической» объективации

Заимствования у антропологии в области восприятия и структурирования других культур, предложенные мною как способ вырваться из герменевтического круга, возможны лишь до некоторых пределов. Одна такая граница заключена в опыте самой антропологии, поскольку, добившись понимания структур, эта дисциплина одновременно разучилась видеть способность изучаемых ею культур к автономным изменениям. «История» осталась на стороне европейских наблюдателей, чья конструкция структур жизни «дикарей» гиперрационализировала и деисторизировала эти структуры. Это не бросалось в глаза, пока колониальные власти, стоявшие за спиной антропологов, препятствовали восприятию и осуществлению изучаемыми племенами своей исторической субъектности. Но после начала национально-освободительной борьбы стран третьего мира стало понятно, что эта «мертвая зона» в поле зрения антропологов является критической {62}. Такая устная история, которая стремится познавать в повседневной жизни борьбу за независимость, или даже поддержать ее, должна отдавать себе отчет в этой границе и искать компенсаций, которые проявили бы живой, противоречивый, субъективный элемент в ее свидетельствах.

Вторая граница возникает, когда этнометодология возвращается в современные метрополии: сокращение исторической и общественной дистанции уменьшает и размывает зону чужести между исследователями и их респондентами, а тем самым и эпистемологический ресурс этого модуса исследовательской работы. Если не почти все чуждо (как в случае, когда берлинский интеллигент два года живет в африканском горном племени), а встречаются два

немца, живущие в одном городе и не разделенные даже большой социальной и имущественной дистанцией, то восприятие дистанции требует более тонкой саморефлексии. Она, однако, неотделима от массы общих черт в повседневной жизни и ментальности и не вознаграждается романтикой экзотических приключений. И все же дистанция реально существует, однако исследователь познает ее уже не посредством той «социальной смерти» {63}, которая стимулировала внимание европейца, осуществлявшего включенное наблюдение в полностью чужой культуре: он познает ее через частичное и потому зачастую не полностью осознаваемое раздражение его самопонимания и его предположений относительно респондентов. Только в ходе контакта природа дистанции может быть выяснена, вычленена из клубка дистанцирующих или объединяющих атрибуций; тогда может быть точнее определен и объем возможного понимания латентных структур. Одновременно эта более узко очерченная рамка анализа открывает зону, в которой свидетельства не требуют и не допускают специальной интерпретации в сегодняшней публичной сфере, а могут сообщать о своем смысле напрямую. Определение этой зоны, правда, дело трудное, в частности, потому что будничные язык интервьюируемых людей создает иллюзию непосредственности их воспоминаний, которую те, однако, зачастую теряют при возвращении их в исторический контекст. Здесь перед историком стоит задача: осмысленно отобрать и соотнести друг с другом цитаты и предлагаемые интерпретации.

Тем самым названа уже и третья граница: информанты и исследователи при изучении устной истории средствами «этнологии собственной страны» {64} связаны друг с другом общей (по крайней мере частично) публичной сферой. В отличие от традиционной этнографии исследователь здесь рассказывает «своей публике» не о том, что он обнаружил в мире, совершенно отдельном от его мира и препарированном в рамках эволюционной теории или этнографического музея, подобно коллекции бабочек, – мире, культурную диалектическую связь которого с этноцентризмом Европы мы только сегодня научились видеть в ретроспективе {65}. Скорее в данном случае общество изучает само себя, и «публика» здесь потенциально и частично является и рассматриваемым объектом, и квалифицированным субъектом одновременно. Такой процесс познания не может быть завершен внутри науки, с тем чтобы его результат был в качестве готового продукта представлен общественности, рассматриваемой как внешняя: участники интервью-воспоминания и его анализа разрабатывают только основу для дальнейшего процесса познания общественной коммуникации.

## **Эстетическое восприятие**

Эти эпистемологические барьеры могут быть открыты для читателя (слушателя, участника семинара и т. д.) и для общественности, когда истории-примеры из интервью-воспоминаний вместе с предлагаемыми интерпретациями историка делаются доступными для эстетического восприятия {66}.

Только бедные, сконструированные истории «раскладываются без остатка», когда интерпретатор к ним прилагает свои категории; такие рассказы после этой операции выглядят опустошенными, в них не остается никакого живого зерна, как в соломе после обмолота. Запоминается «мораль сей басни», а сама она забывается. Хорошие истории (а во время интервью любопытному и бережному интервьюеру, как показал наш опыт, расскажут много хороших историй) описывают удивительные сложные процессы, обладающие множеством связей с другими процессами. Эти связи частично описываются, частично упоминаются, а частично подразумеваются, но никогда не поддаются категориальной редукции; значение описываемого события или процесса для автора раскрывается в общей структуре повествования {67}. Иными словами, смысл истории воплощается в ее форме. Изучение тематических историй, рассказываемых без подготовки и повествующих о пережитых самим рассказчиком событиях {68}, показало, что обычно человек, выстраивая свою историю, должен выполнить три требова-

ния: во-первых, он должен из частичных событий и связей между ними выстроить единое целое, передающее замысел его рассказа. Во-вторых, чтобы поддерживать интерес слушателя и направлять его на этот главный замысел, рассказчику нужно сконденсировать описываемый процесс, выделяя важные узловые пункты. В-третьих, он, проходя шаг за шагом вспоминаемый событийный ряд, должен вставлять по ходу дела подробности и пояснения к тем моментам, которые, как он полагает, его слушателю неизвестны (или в большом интервью отсылать его к уже рассказанному ранее).

В силу таких требований к эстетике подобных историй смысловое содержание рассказа поддается вычленению и более или менее краткому выражению (цитированию), а из конкретных впечатлений строятся сложные взаимосвязанные структуры, но не систематические, а генетические. То, что рассказчику представляется интересным в его истории, он пытается наглядно продемонстрировать слушателю. Поскольку он рассказывает незнакомому человеку без подготовки, пользуясь разговорным языком, то наглядность достигается либо путем обращения к распространенным знаниям, зачастую генетически связанным с опытом преодоления повседневных жизненных проблем, либо путем специального описания того, что является уникальным, особым. И то, и другое приходится ради краткости делать лишь намеками, и потому предполагается опора на жизненный опыт, не эксплицируемый в полной мере.

Если в такой ситуации рассказчик не идет путем, описанным выше, т. е. не растолковывает все то, чего слушатель не понимает, и не рассказывает предысторию своей истории, а избирает путь эстетического восприятия, то у исследователя не остается по отношению к прочим слушателям преимущества, даваемого знанием. Наоборот, поскольку в данном случае главное – это то впечатление, которое «охватывает» слушателя при целостном восприятии, то скорее и лучше всего сможет понять сказанное тот, чей жизненный опыт в наибольшей мере пересекается с опытом рассказчика. Ибо понимание, по Дройзену, происходит «как бы непосредственно, сразу, так что мы не осознаем тот логический механизм, который при этом действует. Поэтому акт понимания подобен непосредственному интуитивному наитию, творческому акту, искре, проскакивающей между двумя заряженными телами, акту зачатия. В понимании полностью участвует вся умственно-чувственная природа человека» {69}.

Подобным же образом описывал Пирс предшествующее всякой научной операции и единственно продуктивное «абдуктивное умозаключение», путем которого на основе наглядного восприятия сложной конstellации делается вывод относительно ее главного информационного содержания: он тоже говорил об «интуиции» или о «молнии», с помощью которых через обращение к досознательному опыту можно сразу прийти к точной (хотя еще не доказуемой) расшифровке воспринимаемого {70}.

В один ряд с герменевтическим разбором текста интервью, таким образом, может на уровне эстетического восприятия встать и совсем другое понимание заложенных в нем завершенных микропроизведений устной литературы, – такое понимание, которое вполне адекватно этим историям как сложным выражениям субъективного опыта и к которому непредсказуемым образом способен «всякий».

Этот «всякий», однако, всегда есть некто особый, который по своей индивидуальности, а зачастую и по своей социокультурной принадлежности характеризуется специфическими отличиями и сходствами с респондентом и/или с историком. Поэтому он со своей позиции может обнаружить в рассказываемой истории еще какую-то информацию и какие-то смыслы, не те, что намеревался сообщить рассказчик, и не те, что выявили методические интерпретативные операции историка. Как минимум этот «всякий» может проконтролировать предложенную последним интерпретацию в приложении к некоему конкретному тексту-примеру {71}. Поэтому было бы неправомерным сужением осмыслять процесс производства устной истории как происходящий только в биполярном пространстве между субъектом и объектом, или между субъективностью и объективацией. Скорее его следует рассматривать, схематиче-

ски говоря, как треугольник отношений, в котором реципиенту, т. е. «всякому», по праву должна быть отведена самостоятельная критическая позиция в социальной коммуникации по поводу истории. Поэтому тот, кто публично презентует произведения устной истории (как правило, историк), должен следить, чтобы форма презентации давала возможность этому третьему участнику реально осуществить свою ключевую роль в исторической коммуникации.

Чтобы пояснить сказанное, я еще раз кратко рассмотрю альтернативные формы текста с точки зрения реципиента. Звуковой протокол или транскрипт обстоятельного интервью-воспоминания не пригодны для публичной презентации, поскольку их текст имеет смешанную структуру, содержание фрагментировано, степень подробности слишком высока. Их нельзя «прочсть», их можно только прорабатывать: расшифровывать, классифицировать, анализировать, интерпретировать и/или готовить к публикации.

Нередко фрагменты текстов, собранных в ходе проекта, – обычно это истории вышеописанного рода – вычленивают из корпуса и публикуют в книге (или фильме, радиопрограмме, на выставке). То есть публикуются фрагменты устной литературы, которые реципиент может воспринимать эстетически. Если он благодаря специальной профессиональной подготовке или параллельному опыту в целом знаком с тем, о чем рассказывается в этих воспоминаниях, то он может занять позицию по отношению к фактическому содержанию рассказа. Но в любом случае он не имеет того биографического горизонта и того интерактивного контекста, в которых этот рассказ возник, и потому он лишен важнейшего ключа к его исторической интерпретации. Кроме того, если ему не предложено никакой исторической привязки этого текста, никакого критического обобщения и интерпретативного его разъяснения, то у него нет средств, чтобы в рамках исторического знания осмыслить значение рассказа и составить свое собственное суждение. Такой реципиент, ограничивающийся эстетическим восприятием единичных историй, может составить себе наглядное представление о предмете и сделать некоторые изолированные открытия; его можно призвать идентифицировать себя с персонажами; им можно манипулировать, создавая иллюзию подлинности документа; можно его развлечь, вызвать у него потрясение или навести на возвышенные мысли; но лишь в редчайших случаях расширится его историческое восприятие и обострится его способность к суждению.

Однако, ничем не лучше ситуация, когда историк презентует ему только результаты своей интерпретативной работы, местами подкрепляя или украшая свои слова краткими цитатами из источника. Такие цитаты в большинстве случаев не поддаются проверке и потому, собственно, совершенно ничего не подкрепляют. Кроме того, из массива текста интервью-воспоминания можно вычленивать фразы или обрывки фраз, подходящие под любую, даже самую причудливую интерпретацию. «Собственный смысл» источника, которому должна быть адекватна интерпретация, проявляет свою «сопротивляемость» лишь в сравнительно длинных цитатах, которые позволяют проследить либо взаимодействие между интервьюером и респондентом, либо все сложное смысловое и формальное целое рассказа. Если же такие цитаты, причем пригодные для эстетического восприятия посторонним науке реципиентом, не приводятся в публикации наряду с интерпретациями, то реципиент остается полностью во власти интерпретатора, как если бы тот водил его по музею с завязанными глазами. Вполне возможно, что слова экскурсовода оказались бы способны настолько возбудить историческое воображение посетителя, что изолированные экспонаты вернулись бы перед его мысленным взором в те жизненные и источниковые контексты, из которых они намеренно или ненамеренно были вычленены. Сами по себе выставленные в музее шкаф, машина, витраж или мундир мало что говорят. Но если наш реципиент не может видеть эти экспонаты, хотя разбирается в одежде, посуде, картах или механизмах не хуже историка, который в данном случае должен только поставить ему на службу свои познания о другой эпохе, то что произойдет с его интересом, его знанием предмета, его критикой и его представлениями?

Может показаться, что среди методических рассуждений о проведении интервью-воспоминания неуместно приводить указания, какой должна быть презентация. Но только в этой точке замыкается круг, когда мы пытаемся заниматься устной историей с целью внести вклад в развитие демократической историографии, приблизиться к субъективному опыту тех, кто иначе не получит голоса в истории, ибо этот голос нигде не сохранится. Я постарался показать, что простых, прямых путей нет. Услуги исторической науки – даже сравнительно методологически сложные – нужны, чтобы участие тех, о ком рассказывается в истории, в самом деле способствовало расширению исторического восприятия всех. Но надо также избегать и противоположной опасности – опасности неконтролируемой научной экспроприации этой фрагментированной коллективной памяти: как показывает накопление инструментального знания-власти в некоторых разделах эмпирической социологии и социальной истории, эта опасность реальна.

Я не говорю об утопической ситуации, когда мы, ученые, вдруг оказались бы одарены способностью так представлять результаты своей работы, чтобы всякий мог их понять и с удовольствием и интересом с ними знакомиться. Это, конечно, цель похвальная {72}. Но саморефлексия подводит к осознанию того, что выше головы не прыгнешь и что историки – не наставники нации, что они должны предлагать ей нечто осмысленное, и это нечто зачастую лишь через много промежуточных этапов, после критического отбора, в измененной форме, дойдет до исторической коммуникации в обществе и окажет на нее влияние – а иногда и не окажет. Я же говорю скорее о том, что эти услуги, эти предлагаемые историей обществу интерпретации должны быть сформулированы так, чтобы это были в самом деле предложения, которые отражали бы эпистемологические границы исторической интерпретативной работы и держали бы эти границы открытыми для критики со стороны «всякого» и для его участия, для выражения его точки зрения. Иначе говоря: историческое познание следует понимать не как продукт интеллектуалов, а как социокультурный процесс, который хоть и не движется без вклада интеллектуалов, но все же в нем и другие выполняют свои совершенно отдельные функции. Достижение этих целей, на мой взгляд, лучше всего обеспечивается тогда, когда интервью-воспоминания не превращаются ни в собрания непроинтерпретированных фрагментов, ни в продукты анализа, из которых изгнано живое содержание памяти респондента. Вместо этого следует сознательно сочетать в напряженном соотношении друг с другом углубляющую и обобщающую интерпретацию и эстетику длинных цитат, в которых тексты могут реализовывать свое сопротивление неверно приписываемым смыслам, сохранить свою самобытность и историческую субъективность {73}.

## Интервенция памяти

Английское словосочетание *oral history* означает – вопреки своему буквальному значению – не какой-то особый вид истории, который ограничивается устно традированными источниками, а специфическую технику изучения современной истории {74}. Устная история, с одной стороны, позволяет исследовать определенные сферы, по которым нет иных источников или они не доступны, и таким образом, она представляет собою один эвристический инструмент среди прочих. С другой же стороны, она позволяет расширить концепцию недавнего прошлого и историзировать его, в силу чего практика *oral history* оказывает влияние на понимание истории в целом.

Существуют два распространенных заблуждения. Первое из них – что устная история есть социально-романтический самообман, научно несостоятельный, ибо надежных воспоминаний и репрезентативных высказываний слишком мало, чтобы можно было строить на них серьезное исследование. Второе – что устная история есть универсальная аббревиатура вчерашнего, своего рода *instant history*, которая годится для всего чего угодно и позволяет понять

утраченный мир дедушки, прослушав его последнее интервью, записанное на магнитофон. В противоположность этим двум глобальным предрассудкам функцию *oral history* в изучении современной истории скорее можно уподобить функции археологии для истории древней.

Это метод, специфичный именно для Новейшего времени, нацеленный на междисциплинарное сотрудничество, позволяющий расширить спектр исторических источников и историческое восприятие, а от других эвристических областей в истории отличающийся тем, что его источники не даны в готовом виде: их характер определяется отчасти тем, как они «добываются». Конечно, сравнение с археологией не совсем удачно, потому что остатки воспоминаний в памяти качественно отличаются от керамических черепков в земле. Но раскопки расширяют наше понимание истории, основанное на текстовых источниках, добавляя к нему пространственное измерение, и разрушают проекции исторической фантазии, предлагая новую возможность восприятия, где все наглядно и все зарисовано гораздо более реалистично, чем прежде воображалось. Подобным же образом интерактивная индукция интервью-воспоминания требует такого представления об исторической науке, при котором мы признаем, что ее данные продуцируются в процессе исследования, что она приближается к перспективе субъективного опыта, препятствует переносу нынешних представлений на прошлое и создает (подобно археологии) из фрагментов и примеров основу для нового восприятия, в данном случае – восприятия такого аспекта, как человеческий жизненный опыт. Поэтому ниже я хотел бы попытаться кратко очертить те сферы, где интервью-воспоминание сулит эвристические приобретения для современной истории, а затем сказать несколько слов о том, почему аспект человеческого опыта исторически важен и в какой мере его интервенция может иметь критическую функцию.

### Свидетельство экспертов

Устная история возникла в США вскоре после войны, когда стало ясно, что важные для общества решения все больше принимаются не на уровне высшего руководства, а готовятся в штабах, аппаратах и на заседаниях, так что те, кто за них «ответственны», на самом деле зачастую только повторяют написанное другими и оправдывают это перед лицом общественности. Логика, стоящая за этими решениями, и институциональные процессы, в ходе которых они вызревали, суть порождения мира элит второго эшелона (менеджеров, функционеров, чиновников, экспертов), которые не пишут своей истории, не излагают в ней своих мотивов и связей, а если бы они и писали мемуары, то эти книги не продавались бы. Те письменные тексты, которые эти люди продуцируют, суть лишь конечные морены внутриаппаратных процессов, которые сами по себе все меньше опираются на письменную фиксацию информации. В XIX и в первой половине XX века дело обстояло еще совсем иначе: во-первых, число участников было гораздо меньше; во-вторых, им зачастую не оставалось ничего другого, кроме как письменно объясняться друг с другом по поводу их истинных мотивов. Современные бюрократические аппараты во второй половине XX века продуцируют все больше бумаг (впрочем, этому процессу роста может положить конец распространение средств телекоммуникации), но все больше решений обсуждается и принимается по телефону или в мобильных рабочих группах, поэтому такие бумаги все меньше годятся для глубокого исторического анализа {75}. Никсоновские магнитофонные записи деловых разговоров в Белом доме и взяточная бухгалтерия Флика<sup>3</sup> обладают такой высокой ценностью не потому, что в них документирован очень

---

<sup>3</sup> Имеется в виду «дело Флика», ставшее причиной громкого политического скандала в ФРГ в середине 1980-х годов. Фирмы Ф. Флика тайно передавали крупные денежные суммы деятелям нескольких политических партий, в том числе и министрам. Это, как предполагали (доказательств, впрочем, найти не удалось), были не просто пожертвования в пользу партий, но взятка за выгодное для концерна постановление Министерства экономики. Чиновники налогового ведомства обнаружили записи об этих выплатах в бухгалтерских книгах компании.



необычный способ ведения дел, а потому, что подобная форма фиксации информации о практиках в мире власти и денег в высшей степени необычна.

Однако опыт показывает, что представители этих кругов зачастую и после выхода на пенсию или в отставку сохраняют дисциплину, подобающую их должностям, и лишь немногие из них готовы и способны с достаточной точностью вспоминать детали своей прежней деятельности. Только в исключительных случаях долговременная память не изменяет человеку, когда по прошествии десятилетий нужно в подробностях реконструировать процессы принятия конкретных решений. Это неоднократно показывали допросы свидетелей в процессах по преступлениям нацистов, шедших более чем через двадцать лет после событий. Это обстоятельство испортило репутацию огромной массы письменных свидетельств и записей устных рассказов в области современной истории {76}. Ситуация бывает, возможно, иной в тех случаях, когда подобные процессы принятия решений одновременно означали важные, переломные моменты в биографии самого вспоминающего, но тогда он зачастую не хочет потом ни с кем делиться воспоминаниями о них. Опыт интервьюирования представителей элит на темы, связанные с политическими решениями, привел историков к мысли, что опросы свидетелей надо начинать сразу после значительных событий. Но такие мероприятия по превентивной фиксации исторических сведений быстро наталкиваются на финансовые трудности, а кроме того, они сопряжены со сложнейшими методическими проблемами {77}.

Многие историки, разочаровавшиеся в плодотворности и надежности интервьюирования представителей элит как способа сбора информации о принятии решений, тем не менее считали, что встречи с ними помогали им многое понять из «подоплеки дела». Более крепкой представляется долговременная память в отношении того, что касается социальных отношений внутри аппаратов и между ними, оценок тех обстоятельств, которые определяли принятие решений, и тех кодов, в которых осуществлялась коммуникация; одним словом: лучше помнятся истории из верхних этажей рабочего мира {78}. Поэтому тут вполне можно было бы проводить антрополого-социальноисторические исследования повседневной жизни «человека организационного». Но в качестве информационной подпорки для современной политической истории даже такие воспоминания из организационных контекстов следует признать особо текучими и субъективными данными, которые можно собирать и контролировать только в сочетании с соответствующими архивными разысканиями. В этом смысле процесс такого комбинированного сбора информации сближается с расследованием дел в криминалистике, а интервью – с допросом. Часто для этих целей более пригодны и достаточны разговоры «о подоплеке дела», проводимые без магнитофона, т. е. не оставляющие после себя никакого документа, доступного для текстового анализа.

В проекте LUSIR подобные интервью с представителями элит на темы, связанные с политическими решениями и структурами, проводились только как составные части биографических интервью, сопровождалась архивными исследованиями профсоюзных документов, а в качестве респондентов фигурировали прежде всего члены производственных советов и другие представители рабочих элит горнодобывающей и металлургической отраслей. Разговоры «о подоплеке дела», ведшиеся помимо собственно интервью, дали нам очень важные сведения, например для реконструкции политических взаимосвязей {79}. Но та полученная от представителей политических элит информация, которая касается не фактов и структур, а политических идей, ценностей, опыта и кодов, особенно трудна для интерпретации, потому что этим людям приходилось постоянно заново обдумывать и переосмысливать свои цели, так что их память уже многократно прорабатывала и заново интерпретировала воспоминания.

Это я хотел бы проиллюстрировать примером ретроспективной рефлексии одного профсоюзного функционера по поводу вопроса об обобществлении собственности на средства производства в первые послевоенные годы. Свой опыт он сформулировал в таких словах: «Здесь тогда еще время не пришло для тогдашнего времени» {80}. Сначала эта фраза вызывает недо-

умение. Высказывание, с одной стороны, представляет собой краткую формулу, а с другой стороны, расплывчато и облачено в камуфлирующие понятия («время»), которые к тому же имеют разные значения: это противоречие указывает на то, что это перед нами квиетистский код самопонимания, которым выражена идея, не пригодная для открытого высказывания. Правда, достаточно хотя бы немного знать о том времени, чтобы понять политическое значение этих камуфлирующих понятий. Но фразу, которая в результате такой расшифровки получится, – «общественные отношения здесь тогда еще не созрели для обобществления средств производства», – респондент явно не хотел произносить, потому что это было бы всего лишь затертой левацкой рационализацией поражения социал-демократов и коммунистов. Сказав меньше, он дал понять больше и одновременно это скрыл. Этот человек – сын плотника, разочарованного «старого бойца» СА, – в конце войны был убежденным членом гитлерюгенда, командовал малолетками. Потом убежал от русской оккупации из Центральной Германии в Рурскую область, где уже в 1946 году стал руководителем молодых рабочих на своем предприятии, двумя годами позже вступил в профсоюз, а потом, когда основной его работой стала профсоюзная деятельность, стал членом СДПГ. Послевоенная переориентация привела его в лагерь левых и одновременно способствовала стремительному росту его общественного положения: на сегодняшний день он считается одним из немногих выдающихся левых деятелей среди крупных функционеров своего города. Обобществление средств производства – это для него цель, которая после войны стала прежде всего содержанием *его* новой жизни; но, глядя из сегодняшнего дня, он идентифицирует ее с тогдашним временем, и при таком дистанцировании она выглядит уже не такой актуальной. От темпорального понятия («тогда») он отделяет пространственное («здесь»): очевидно, тогда же где-то в другом месте время для обобществления уже пришло, но это было в той самой советской зоне оккупации, откуда он сбежал. Из этой искаженной картины общеполитических условий, биографии и приобретенной позднее, ставшей с тех пор не актуальной, но все же сохраненной целевой ориентации возникает процитированная трудная фраза, которая поначалу недоступна для коммуникации, потому что ради сохранения идентичности громоздкие связи с действительностью камуфлируются формулами-пустышками. Но эти формулы-пустышки представляют собой усеченный код и содержат в себе одновременно коммуникативное предложение собеседнику: достичь согласия в рамках просвечивающего общепринятого (для левых) паттерна рационализации.

Этот пример показывает, что интервью с политиками полны подводных камней, особенно в обществах, где политические векторы в недавнем прошлом несколько раз резко менялись. Даже – или особенно – там, где предмет воспоминания не слишком эфемерен для долговременной памяти, а в силу своей личной значимости хорошо в ней сохранился, в интервью лишь в редких случаях рассказываются сырые воспоминания о ценностно нагруженных политических сюжетах. Это превращает их – тем более, что политический процесс, как правило, порождает также другие источники информации, – в богатый фонд данных для изучения индивидуальных и общественных факторов, которые при формировании и переформировании опыта сплетаются друг с другом; но для исторической реконструкции возникающий в результате источник использовать трудно. Впрочем, эта проблематика не столь сильно проявляется в работе со вторым типом экспертного интервью, применяемого для реконструкции сфер современной истории, слабо обеспеченных источниками: я имею в виду реконструкцию условий повседневной жизни.

Значительная часть повседневности, в которой группы и индивиды трудятся, состоят в социальных отношениях, формируют толкования своей жизни или перенимают унаследованные, сама по себе не продуцирует текстовых (а зачастую и вовсе никаких) источников. Хотя именно в этой сфере общественные структуры и политические процессы соприкасаются с жизнью индивида, т. е. история как бы охватывает и пронизывает человека, документирована эта сфера чрезвычайно скудно, и это многих удивляет, ведь повседневность представляется чем-то

настолько близким, что кажется, будто источники по ее истории находятся повсюду, а каждый человек – эксперт по собственной недавней истории. На самом же деле история повседневности особенно трудна для изучения и зачастую в большей мере, чем политическая или интеллектуальная история, нуждается в теоретической базе {81}.

Связано это прежде всего с тем обстоятельством, что большинство рутинных действий в повседневной жизни совершается неосознанно: это привычные и едва приметно меняющиеся впечатления и действия, заученные в период социализации. Человеку становится изнутри видна их особость только тогда, когда они перестают быть автоматическими. Неосознанное представляет собой «забытую историю» {82}. Тот факт, что его содержание составляют вещи, когда-то возникшие, не присутствует ни в сознании, ни в воспоминании до тех пор, пока эти вещи сохраняют свою действенность. Они проявляются на поверхности сознания лишь постольку, поскольку их приходится не совершать машинально, а вспоминать, или если их наблюдает кто-то со стороны.

Поэтому не удивительно, что попытки исторического изучения жизненной практики субъектов сталкиваются с особыми эвристическими проблемами. Остатки прежней повседневной жизни весьма фрагментарны, поскольку в большинстве будничных отношений и процессов господствует устная коммуникация, а отложения материальной культуры, если они вообще собираются и хранятся, не заключают своего смысла сами в себе: они всего лишь технологические элементы и инструменты исчезнувшей жизни. Историческая интерпретация в таких условиях, как правило, вынуждена опираться на сохраненный преданием исключительный случай, который документирует нарушение повседневной практики или преследование отклоняющегося поведения, или же на другие свидетельства внешних наблюдателей. Но адекватно ли отражают такие внешние свидетельства тот «собственный смысл», который заложен в описываемых жизненных условиях, а если нет, то как они его преломляют, – можно проконтролировать только по свидетельствам «изнутри» {83}. По этой причине подавляющее большинство проектов по устной истории сегодня посвящено исследованию таких социальных групп или фаз в истории еще живущих поколений, которые не породили никаких или почти никаких субъективных свидетельств, источников, и цель этих проектов в том, чтобы через интервью-воспоминания сделать эту недавно минувшую повседневность частью истории.

Но и к этой цели нет прямых путей. Если субъектные связи повседневности открываются преимущественно стороннему наблюдателю или воспоминанию, то и интерактивная индукция пассажей в интервью-воспоминании, посвященных истории повседневности, порождает только такие источники, которые полностью раскрывают себя лишь при взаимном контроле обоих измерений. Ведь о повседневности здесь говорится только по двум причинам: либо потому, что об этом спросил интервьюер, – и тогда смысл конституируется спрашивающим, потому что его просьба поточнее описать повседневную практику всегда приводит к тому, что из латентной памяти извлекаются лишь свидетельства, освещающие предмет под одним определенным углом; либо потому, что респонденту захотелось вспомнить не существующую более жизнь, – и тогда преодолеть барьер предполагаемой им тривиальности предмета рассказа он может только за счет чувства сожаления или облегчения по поводу того, что теперь повседневная жизнь в этом и/или других отношениях стала иной. Это чувство (у многих старых людей это ностальгия) {84} – а вовсе не тогдашний смысл воспоминаемой жизненной практики – мотивирует активную память и структурирует смысл сообщения, выдаваемого ею. Но обе перспективы могут дополнять и контролировать друг друга.

Если интервьюер терпелив и уже настолько детально знаком с условиями жизни своего собеседника, что может задавать конкретные вопросы, то респондент, как правило, точно и подробно описывает рутинные повседневные действия {85}, по крайней мере такие, которые относились к основной сфере его деятельности, навыки, владение которыми было ему важно и являлось составной частью его я-концепции. Вопрос о том, почему такие рутинные повсе-

дневные операции удастся извлечь из памяти, до сих пор, насколько мне известно, наукой не изучен. Но две причины кажутся мне очевидными. Во-первых, важность этих действий для трудовой и прочей жизни субъекта вела к тому, что они в точности запоминались, а длительная практика способствовала тому, что они входили, как говорится, в плоть и кровь. Во-вторых, это в большинстве своем «невинные» знания и умения, которые не приходилось в последующей жизни истолковывать или перетолковывать в отличие, например, от ценностных ориентаций или проблематичного опыта {86}. Точность воспоминания связана не в последнюю очередь с тем, что респондент не может разглядеть связь вопроса со смыслом истории своей жизни. Такой связи, как правило, и нет; смысл вопроса устанавливается аналитически и касается условий жизни некоторой группы. Но косвенно такая связь может возникать при анализе текста интервью, потому что у исследователя есть возможность проверять опыт и оценки респондента на соответствие его же рассказам о повседневной жизни. Если такого человека просят дать сведения о повседневной жизни некоей группы, объединенной какой-то общей практикой, то его наивное воспоминание будет обладать потенциалом плотного описания {87}. В сочетании с воспоминаниями о сравнимых ситуациях это описание можно контролировать и доводить либо до насыщенного и освобожденного от индивидуальных особенностей описания структуры, либо до характеристики некоего габитуса, социального структурирования диспозиций для практики индивида {88}.

Но получать такую информацию посредством бесед – в полевой социологии их называют экспертными интервью – бывает порой трудно. От интервьюера требуется глубоко «входить» в материал, чтобы, с одной стороны, он сам понимал значение своих вопросов для своего исследования и обладал достаточным терпением, чтобы выслушивать подобные описательные воспоминания, а с другой стороны, мог на основе своих познаний задавать достаточно точные дополнительные вопросы, поддерживая процесс воспоминания о рутинных повседневных действиях (какие трудовые операции осуществлялись на том или ином рабочем месте, как проходил среднестатистический день и т. д.), и производить на респондента впечатление человека, которому стоит рассказывать подобные вещи. Для интервьюируемого же трудность заключается часто в том, что он не может понять смысл вопроса (например, такого: как были обставлены те три квартиры, в которых он последовательно жил в детские годы?), или что его раздражает тривиальность предмета, или он предполагает, что интервьюер обладает некими познаниями вообще либо по данной конкретной теме («Ну, девочка моя, вы же знаете, что в хозяйстве делать приходится»), в то время как это может быть не так. Но работа по воспоминанию подробных описаний повседневности предполагает преодоление таких коммуникативных барьеров с обеих сторон.

Субъективность опыта повседневности и паттерны собственного смысла, заложенного в повседневности, невозможно реконструировать из комбинаций воспоминаний таким же образом, потому что они, как правило, подвержены воздействию позднейших или поступающих извне (фактически или на взгляд респондента) толкований, так что сведения, сообщаемые в интервью-воспоминании, варьируют в соответствии не столько с мерой и характером участия респондента в этих повседневных делах, сколько с тем, что он прожил и передумал с тех пор. Но поскольку аспекты повседневности не только являются элементами специфических групповых структур, но и описывают зону практики индивида, то субъективное восприятие их измерений и внутренней структуры имеет особое историческое значение {89}: какого рода проблемы с какими партнерами можно решать в этих рамках? Для чего необходимы организационные или институциональные решения? Является ли восприятие смысла совместимым со структурами повседневности или компенсирующим их? Как приватный мир человека соединяется с более крупными жизненными структурами, которые создаются средствами массовой информации, рынками или центрами политической власти? Поэтому необходимо пытаться скорректировать искажения, вызванные «эффектом ностальгии», когда память реконструирует

структуры значения повседневности для субъекта. Для этого существуют главным образом две возможности: по крайней мере постольку, поскольку сообщаемые респондентом толкования отклоняются от тех, что господствуют (фактически или на взгляд респондента) ныне, можно подозревать, что они «правильные», оригинальные. Но кроме этого можно проверять и совпадение между описанием деталей и истолкованием целого: организуют ли они материал, рассказанный человеком в воспоминании о его рутинных повседневных делах? Совместимы ли они с фактами, сообщаемыми в других сохранившихся свидетельствах?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.